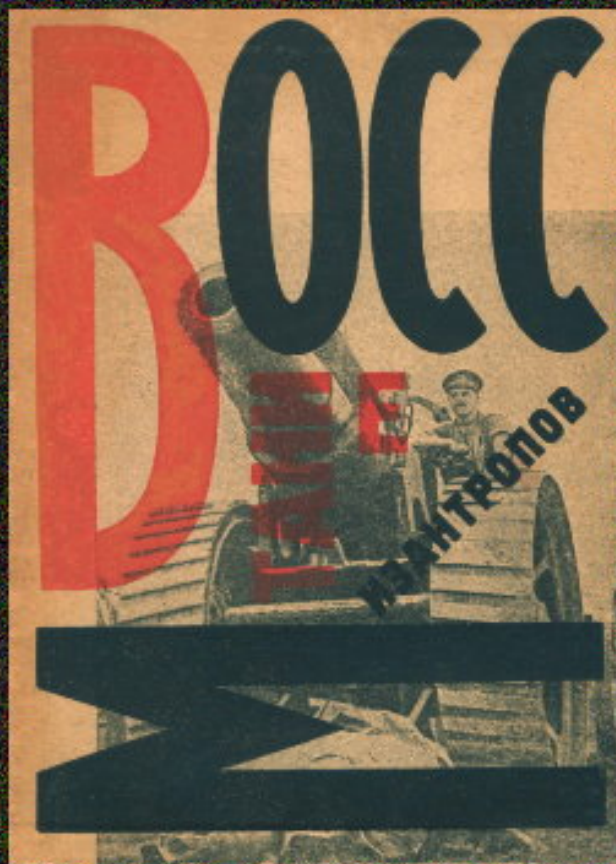


[Polaris]

СЕРГЕЙ БОБРОВ



ВОССТАНИЕ
МИЗАНТРОПОВ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXXIII



Salamandra P.V.V.

СЕРГЕЙ БОБРОВ

**ВОССТАНИЕ
МИЗАНТРОПОВ**

Salamandra P.V.V.

Бобров С. П.

Восстание мизантропов. С прил. воспоминаний М. Гаспарова. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. — 130 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXXIII).

Повесть поэта-футуриста, стиховеда, популяризатора математики и писателя-фантаста С. П. Боброва (1889-1971) «Восстание мизантропов» — фантастика в декорациях авангардной прозы. Эту повесть иногда называют одной из первых советских утопий, но в той же мере она является и антиутопией, и гофманиадой, и опередившим свое время «постмодернистским» сочинением. В приложении к книге — воспоминания о С. Боброве М. Л. Гаспарова (1935-2005).

© Authors, estate, 2016

© Salamandra P.V.V., оформление, 2016

РОСС

АНТРОПОВ

АН

СЕРГЕЙ БОБРОВ

**ВОССТАНИЕ
МИЗАНТРОПОВ**



19 (Москва) 22

Ц. Ф. Г.

I

Ты видишь людей, которые держат
бакалейные лавки. Но на кой прах,
Пондерво, они держат эти лавки?

(Уэллс)

В это время, когда около лежащие бульвары неумеренно насыщались тем сердцеубийственным запахом, каковой исходит из дымчатых жилок новораспущенного листа липы, — налево, занесенный царственным футуристом на самый приземистый лоб складчатого горизонта, гудел параболический мост. Его skleпы чудовищно вздрагивали под мерным трепетом, топотом и прочими сочетаниями букв Т, М, Р и иных, подходящих — колоссального Консолидейшена, упиравшегося непосредственно в небо коротенькой щегольской, фасонистой трубой. Восемь колес мычали — как сто восемь колес. Засим гнался неразличимый смерч уносящихся вагонов, а пыль скручивалась в прокошенном лучиками воздухе. Снизу, откуда выглядывает читатель, это представлялось недостижимым зрелищем. Солнце болталось в низине по-над болотом, великанище Консолидейшен летел выше него. Насыпи казалось не было конца. Однако в оной имелся некоторый изъян в виде дырочки нежнейших размеров, предназначенной для пропуска сволочи, которая таскалась по ветке. Так на этой ветке, в некотором роде, сосредотачивается и локализуется имеющий возникнуть на сем же нимало-не-Африканский монстр, то на нее обращается сугубое внимание.

Однако этому вниманию не на чем было привеситься. Да, действительно, в дырочке под разрисованным уже параболомостом пара рельс звенела в солнце, но унылые вздохи какого-то калеки, современника Уатса, понуждают нас по возможности сократить время, отпущенное на лежащую

на нас тяжелую обязанн.... Скучнейший зелененький свистунишка при тендере с чужого буфера хило похрипывая, выпуская пар изо всех мыслимых щелей, еле дергал, еле еле дергал он своих замызганных приятелей. Машинист и кочегар мирнейше сидели сбоку тендеришки, предаваясь пожиранию явно недоброкачественных продуктов, — свистунишка был так несчастен, что даже не нуждался в пристомре. Корова, сущая корова был сей хвастунишка, ни одна порядочная линия не осмелилась бы держать на своих рельсах подобную злокачественную развалину. Какие силы, спрашиваю я вас, какие возмутительные неприятности довели меня, дорогие читательницы, до такого ужасающего падения, как описание этой скотины? Какая адская, надрывающая мозг скука бросила меня в эту дыру! Или я ослеп, сделался ослом, акмеистом, земляной блохой, читателем творений Шершуневича, что все, что происходит в сем лучшем из миров, до которых мог додуматься Лейбниц, — все, без всякого исключения исчезло и на месте утраченного *всего* возникает видение — скажу по правде — раздрязганного паровоза с сидящими на промасленном облучке машинистом и кочегаром, его кумом, свояком, партнером для домино, собутыльником и проч., и проч!.. Полупросохшая земля тянется сбоку, канавка носит на себе следы пережитого не так давно кораблекрушения: — скрюченная тележка цистерны гласит о сем. Мертвой пылью, покойницкой вонью раздается по несравненной дали скука, прочно и крепко выделанная, во всех отношениях превышающая скрип проклятущего локомотива.

Отбежим налево вниз на двести тридцать одну сажень. Перрон столь же блестящий отделки, как и вышеписанный автодвиг, кишел немногочисленной публи... кишел: это так полагается, к перрону другого глагола нет. Возглас «*Подходит*» — излетел из двух ровным счетом уст. Вихляясь вынес начальник сего учреждения на вид свой отсиженный сад, каковой он старательно поддерживал двумя руками, для отвода глаз сложенными в самой непринужденной позе. Но подозрительному зрителю ясно было в чем тут дело.

— Так вы говорите, это самая близкая дорога? — Не смею вам соврать, а должно быть так. — А скажите, кого бы, чтоб наверное... — Боюсь вам... Я ей говорила, говорила — хоть ты что. Заметьте, батюшка, вникните, сделайте ваше такое одолжение, должен он был по векселю моему зятю уплатить в месяце сентябре — так с... — Извиняюсь, сударыня, простите за нескромный вопрос, а где здесь будет отхожее место, так как я приезжий и прихватило даже немислимо?..

Наконец, пока содержимое станции деловито и без особаго труда — вот что странно — рожало на свет эти потрясающие разговоры, поезд еще дрожащий от усталости вытряс на платформу все им доставленное с такой мукой. И налево — опять таки налево — в третий раз налево — увиливал некоторый коричневый скукотворец, с суетливыми манерами, усталыми собачьими глазами. Лло-овви его, дерржи-и его!



II

Лежит неподвижная полночь.

(Случевский)

Отсутствие фонарей возбуждает любопытство тискающего человека. Тьма ровным пологом взмахивает и вскрывает некое необозримое пространство, где мечтают в будущем отдыхать мнительные люди, пространство просвечено звездами. Волноподобные туманы клубом двигают свои мезозойские очертания. Там, за рощами, потопленными в расплавленных весною водах, за разбивающими ночь на тысячу неслитных и полусонных восторгов соловьем проходят тусклые, желтые воды, уносящие круто кричающие льдины. По этой причине холод, сочащийся по низу, омывает ноги путника, вливая ему в рот и далее крупную слезу сожаления. Он уносит с собой на веки, в виде горького сувенира ночного путешествия эту слезу, он принуждается течением жизни хранить этот подарок на своей груди, ибо нет другого, кому можно было его передать. Человек не имеет, где преклонить голову. Сириус попеременно вонзает в его значки зеленый и лиловый луч, в бок бросает он красный отсвет: торопливая приседающая походка несет человека мрачной улицей. При его приближении недвижно, безщелестно из подворотни вылезает достойных внимания размеров пес и ровно убегает в бок, в бок — куда бегут собаки? Чудный зверь, у коего вечно есть важное и неприятное дело. Однако, животное играет с тьмой, повернувшись — он тонет в ней, прыгнув — он силуетится толстой мордой со внимательными ушами. Вдруг сзади раздаются мерные удары и петуший крик доводит до вашего сведения: — парки бабье лепетанье низводится мною, петухом, и ночным великаном, до легкого шептанья полусонных вод: оно баюкает мир. Спи, дурак и растереха. — Вслед за этим

пес останавливается, мрачно чешется, присевши, нюхает землю и — бурчанье его, рычанье, неровный лай — нерезко, истошно переходит в ужасающий вопль ночного воя. Он воет полусидя, полулежа. Ему отвечают оттуда и отсюда и с этой стороны и с той, он воет с короткими промежутками, жуя тьму и захлебываясь в собачьих сухих слезах. Человек останавливается, оттирает холодный пот со лба, слышит как слезинка пота пробегает из-под мышки по боку, бросает сумку на землю, вынимает револьвер и стреляет в собаку. Револьвер выбрасывает короткий огненный пушистый хвост, пес смолкает, а человек опрометью бежит и исчезает, сопровождаемый неистовым лаем, воем, колотушкой сторожа и — далекими стонами соловья.



III

Не мучь меня, прелестная Марина.

(А. П.)

Мрачный тихий храп не давал уснуть или думать. Рассвет сине, сине пролезал в утлое окошко, огибая рыжую занавеску и попутно выясняя пространственные взаимоотношения близлежащих предметов. Маленький столик заигрывал со стеной, — оба то исчезали, то плыли несоместимой массой, напоминавшей видения пароходов с Миссисипи. Кусок обоев, резиденция мухожадного крестовика, отличавшегося странной для такого мешка нечистот грацией и подвижностью — двигался перед спящими незакрытыми глазами: он принимал вид черномазого мурина, пришедшего за пропитой душенкой спящего. Его неподвижность не только не успокаивала, наоборот, говорила об злой осторожности мурина о том, что он родной братец злющему крестовику, грозе идиотичных мух. Но крыжак в свою очередь ненавидел тонкое жужжанье ос; он думал иной раз: «погибну, съест оса» — и трясся мешковидный от ужаса; — вспоминая нежные объятия съеденного паучка, он упускал даже муху.

Оправдываясь, он рассуждал, что сделал сие исключительно в аффекте, — он хотел только укусить, только укусить... один разок, один только разик, но не удержался, — любовь к паучку была совершенно непомерна: — исчезновение непонятно и достойно жалости. Сей истинно-Брюсовский эффект доехал до своего конца и малютка-паучек исчез в бездне времен! — о дай мне тот же жребий вынуть. Хорошо бы встретить неизбежную осу в том виде, в коем встретил ее бедняга паучек. Ветер тихо и тонко вошел в комнату и дымные персты его повернули бумажку на столе. Шелестя и причитая, она упала ему на руки, он при-

поднял ее повыше, прижал к сердцу и опустил. Закружившись, упала она к спящему. Он взял ее, глаза впились в серые очертания букв, невидных, а память подсказывала слова: «Милый мой, меня страшно огорчает, что я сделала. Я в этом страшно раскаиваюсь. Сознаю, что это было страшно грубо, глупо и безтактно — обо всем этом говорить. То, что сделано, не вернешь. Но обещаю тебе, что в дальнейшем этого не....» — ангел писал эти строки или крыжак: — серый, цветной, узорный мешок нечистот и дикого сластолюбия. Ветер пел в уши, — нежный добрый друг. Он привык баюкать мир, тетерю и автоненавистника. Он прильнул к горячей щеке, двинул волосы, обошел, осторожно колеблясь, ухо и застыл холодноватый, щекоча затылок. Подушка промялась и даже углы ее не вздыхали отрадно. Холод стоял во взорах, мурин вглядывался в душу и урча, поучал: «ничтожество, земляной червь, полип и холерная запятая, грош тебе цена, старая тряпка и пародия на вечно-живое. Вот сейчас подойду к тебе.. у-у-у-у-у!». Человек предпочел прервать излишняя печального образа, результата светотеней и светомраков. Он встал, подошел, звезды внезапно оказались за чертой достижения, что было весьма странно, — уже сидел он в креслах в городе и месте давно покинутом, забытом и чреватом недоумениями. Она подошла к нему с каким то зрящим, нестоющим ответа вопросом, — но он взял руку, теплота ее передалась его дрожащим жилам, она приблизилась, ближе. Ближе. Ближе. Он уже слышал мягкие повороты ног ее, он уже прикинул к груди ее невозвратно колеблющейся. Тут сон разверз перед ним ее неистовое лоно.... тогда через несколько секунд он сидел в слезах и мокрый от пота, дрожащий на поскрипывающей кровати и будил тьму мерным шопотом.

Тихий далекий лай пробежал по городку и вновь затянулась волынка непотребного воя. Два полуночника прошатнулись под окошком.

— Не к добру собаки воют.

— К добру им не выть.

Камень свистнул через улицу и пес с визгом убрался. Его предчувствия реализовались с его точки зрения — вовсе неподходящим к случаю образом.



IV

Тогда я направился в пещеру и вот живу здесь с волками уже двенадцать месяцев. С ними я охочусь, с ними свирепствую, они меня знают и слушаются меня.

(Р. Хаггард)

Лампочка просвечивала через густую месь голосов, дыма, пивного пара, криков — «кружку» — «получите-с» — «а я вам говорю....» — «а я вам говорю....» — «то есть, как же вы, извините, это даже несколько странно....» — «а я вам говорю» — «кому странно, а тебе свиное чрево» — «вы куда смотрите» — «а тебя спрашивают» — «подходящее дело» — «вы бы полегче на светлое налегали» — «я в смысле бальзама» — «никакого не может быть смысла» — «кружку! А я вам говорю, кружку. кру...кру... тру... пр-р-р-тебе чрево... пр-гу-гу- как же-ды-ды-гр-гр...» плавающих рук, коим алкоголь придавал странную автономность. Лица изсиня розовые плыли и пели над кружками. Олимпийно возвышался некто над баром. Его всесильности были вручены белые фигуры, движения коих находились в полной зависимости от его директив. Белые покачивались, покачивая кружки. — Существо женска пола топило среди вымен своих жесткие усы обладателя колоссальных рук, с рьяной дотошностью сжимавших оные волны прекорявыми пальцами. Наконец борьба закончилась оглушительным визгом, руки залезли далее положенного ровно на аршин.

Очертания вышеразрисованного местечка не столь любопытны как сие может показаться с первого взгляда. Наметим, однако.

Потолок приседает в лад дыму, в горле большинства присутствующих давящее пиво плохо усредняется закуской слабо-среднего достоинства: — моченый горох и шари-

ки из известки с мятой. Серозеленые стены ужасно как неинтересны, что сказать о них? Каждый столик мрачно погружается в собственное одиночество. Есть парочка чудаков, истребляющих пиво в одиночку, — они имеют воинственный вид и значительно более несуразны, чем те, что проделывают это скопом.

Низкое оконце приотворялось справа в низочке. Оттуда густо заглядывала ночь, ее лоб, украшенный индиго, ее брови, подернутые зарницами, — ее духи сочетали в себе набор трав, укрепляющий нежные слезы мужества. Серый, что тонул в пиве у оконца, ложился продранным локтем на наличник. Он прислушивался к тону того ночного фырканья, а пиво пощипывало в своем знаменитом «*фужере*» (кружка, просто кружка, — толстенное дно), играло пузырями пены и звало иссохшие губы к своей питательной горечи.

Бедняга, вошедший в учреждение, раскланивался с оным препочтительно. Его встречали возгласы, кои он принимал как должное поклонение — таланту. Немедленно проследовали его опорки к бару, затем в нишу, где инсталлирован был колченогий столик, сосланный туда за некрепость в членах и наклонность охать при каждом ударе грузного и мокрого опивевшего кулака, — кулак сим огорчался и начинал скучать, что не входило в расчеты коммерсанта и величавого владыки учреждения. Владыка учреждения, человек толстый, серьезный и подозрительно благообразный, смахивал на крыжака. Но он невозмутимо поглядывал в нишу. Там опорочник, суетливо краснея веками и разросшимися, как крапива, усами помавая по тараканьему, устанавливал фужеры, то доливая их водой, то отпивая из каждого. Тоненькие палочки, чуть касаясь фужеров, роняли тонкий звон: — динь-день-день... динь- динь... донь-доонь... и проч. Завершив подготовительное, талант глянул в толпу и сказал гнусавенько: «денечек», — тогда он наклонился над фужерами, лицо приняло тяжелый оттенок холода, руки пристали друг к другу локтями, палочки бросились к фужерам и оттуда понесся тоненький напев «денечка». Динь-динь, -ди-ринь, -ди-ринь, - динь-динь- динь-

ди-ринь.... и далее. Холодное индиго текло в окно. Дверь еще приостановилась и тихо шмыгая скользнул, неловко хмурясь другой. Вслед ему зашептался дальний столик: «Темрюков.... а чорт его душу знает.... собаку Васькину убил.... Три рубли отдал... чорт его.... ну да тоже ведь известно.... зря народ болгает.... чего зря, общеизвестно.... уж факт говорит.... факт — факт! Холостой да дурак: все и дело то....» На сем обрывались эти излияния, подлинный смысл коих оставался весьма темен. Плодившие таковые размышления быстро погружались в мрачное рассмотрение действительности, подозреваемой в тайном намерении подковать всякого с оной соприкасавшегося.

Хмурый новичек проходил меж столиками. Столики испытывали переход из одного состояния материи в другое — из твердого переходили в коллоидальное. Хмурый чувствовал себя пронзенным взглядами, на перекрестке коих пахивало свалкой. Однако, один из столиков, прохрипев «умми-рраю», принял его к своему борту. Человек на месте. Каждый человек, согласно общему плану мироздания, должен иметь какое-нибудь место (идеологическая база самоубийства).

Денечек нежно и тонко разносился по воздуху, напоенному густым паром пива. Он пел, заглядывая вам изредка за спину — тогда по ней пробежал хитрый холодок — он вспоминался слезами, орошавшими давнее время землю. Ритмическое покачивание звуков обертывалось словами, за словами тенью вставал мотив. Снова слышались жалобные слова. Так денечек терзал сборище подозрительных и плохо отстиранных личностей. Это терзание наносило раны, оно вскрывало язвы. Язвы заливались пивом, — так завершался круг алкоголизирования населения. Крыжачистый владыка усматривал здесь величайшую гармонию, которую когда-либо замечал глаз человеческий.

Хмурый проклинал на трех языках денечек. Это было не в его стиле.

Он зашипел трубкой: — «Я сказал “тру-ту-ту” и “брилли- брилли”, — и так как я, опешив, молчал, — добавил: — моцион языка.

(А. Грин).

Почтенное учреждение завершило свою дневную задачу. Уже величавый смотритель грузно наклонился над стойкой; отчетливо и резко защелкали счеты под кургузыми и громадными пальцами. Деморализованное население разошлось. Пять душ проедалось в кабачке. Хмурый был там.

Неожиданно встал он, оглядев налитых пивом неподвижников, расслабленные губы и ползавшие по столу за крошками руки, — вошел он в нишу, уселся к колченогейшему.

— Поете, — сказав он, горько переваривая пиво, — поете. И что поете. Денечек поете. Разве сейчас надо денечек петь? Дураки.

— Безобразь полегче, — посоветовал остановившийся и до крайности заинтересованный служащий Личарда.

— Какой денечек.... — хриплый смех забегал вокруг ниши. — Эх, вы. Вы люди? Так: — денечки вы — не люди...

— Жила, — ответствовали из угла, — молчал бы. Зачем собаку стрелил?

На вопрос не отвечая, он продолжал:

— Я вот могу спеть..., — и с усмешечкой, обличавшей его крайнюю скромность: — желаете послушать ?

— Споет, — резюмировал угол. — Пожди, вот ему так споют ребята, месяц у Лексей Николаича в больнице отваляешься.

Сие было контрасигновано:

— Обязательно: да.

— Неужели нет?

— Очень просто.

— Лахудристый малый: — поучат.

— В лучшем виде. В самом лучшем виде.

— Тогда и петь будешь!

Он пробовал поспорить:

— А вы меня знаете ?

— А кому он, ребята, нужен.

— Трофим возьмет: у него девка молодая.

— Хрен у меня есть молодой. Девку побережем.

— Вот так хрен, мать твою не замать! А тебе и крыть не-
чем — видал.

— Да что с этаким дерьмом связываться.

— Руки марать.

— Поганым горшком накрыть...

—сверху плюнуть...

—сбоку екнуть....

—сверху ахнуть....

—тарарахнуть....

—чтоб не возился.... не крутился....

— Не орите. Слово дайте...

—наддайте....

—городской....

—инструментальный....

—нахлебнички, мать вашу....

—курицыны дети....

—свернешься....

—да в зубы ему смотреть....

—наделали вас на нашу голову....

—старики то были дураки: с женами спали....

—у нас не по эндакому....

—мы ребята — пройды....

— Мы — тройные! Кованные! Мы — свихниголовые!

—ножики пудовые....

И ежась от скуки, длинной и нестерпимой, выслушивал хмурый наш персонаж эти перекликавшиеся проклятия — одно другого глупее и придурковатее. Выслушал без гнева, ибо общий тембр ражей ругани указывал, что далее

упоминания сродников, обеспеченных такими-то (имя-рек) способами, — дело на сегодняшний вечер не двинется. Ежась, поеживаясь, выслушивал он:

— А ну, химик, еще чего?

— Заленился, подкованный, двустнастный, четырехпроцентный!

Общее едкое фырканье покрыло последний эпитет:

— Его, ребята, на заводе Максимыч трубкой мерил. И-ги-ги!

Угол разгружался, а четырехпроцентный с грустью следил удаляющуюся аудиторию. В отворенную дверь свежо мотнулся сквозняк, приналег на окно, рамы визгнули, вскрылись, трава качнулась из-за подоконника, и оттуда потянул запинаящийся речитатив:

— И зачем же я вас ми-иленький узнала?

Тут певец споткнулся. Однако с трудом переваливая через согласные, сунулся далее:

— Зачем полюби-и-ила я вас,
Биз вас ба я гористи ни зна-а-ала,
Теперь жи я страдаю кажняй ччас....

Ясно отчеканивались колеи и кочки, проецируясь на звуковом фоне нежного напева. Замечалось, что дорога была выбрана помимо певца. Черти его несли. И только они и знали, куда они его несли.

Тут четырехпроцентный с решимостью примерного супруга, после четырех часов ночи, вдруг подпрыгнул и на тот же мотив завел:

Когда я увижу город старый,
Когда ж услышу за собой:
Хлысту подобные удары
Винтовки в улице пустой...

В дверях зашептались, четырехпроцентный кинул день-

ги на стол, вылез в окно и схватился за лоб. «Идиот, негодяй, предатель, — подчивал он себя самого, — нет, что же это такое, — а?»

Тут двое теньями быстро прошли около него. Куски слов запрыгали над ушами, и он услышал:

—отрицает нитроглицерин.....

И тогда волосы на головенке беглеца один за другим в некоторой роковой и ужасающей последовательности стали подниматься к апексу, холодный пот омочил его бедра тоненькой и язвительной струйкой — и стремглав понесся он через теплую синь ночи в свою конуру.

В его голове медленно повертывались слова:

—отрицает нитроглицерин....

Оглушенные мысли бросались из стороны в сторону:

«А ежели он.... отрицает... то, отрицание.... то.... отрицание его отрицания не поможет.... значит, нечего и стараться. Я — дурак, я — прозевал: — не об чем и говорить».

Он раскрыл записную книжку и занес в оную: «Смысл жизни раскрывается человеку неожиданно».

Посидел на кровати, пережевывая пальцами пальцы, и записал еще: «См. Тютчева, Кропоткина, а также Пуанкаре».

И диссимилируя страх, разделся и непринужденно зевнул.

Где-то далекий говор напугал его до смерти. «Чего боюсь?» — а боялся то он, бояться того, что за ним гонятся. «Отрицает нитроглицерин...»



VI

И вот черт помог мне увидеть вашу милость.

(Б. Шой).

Это трижды премилое существо, мягенькое и теплое, а, следовательно, живое, считало, видимо, безо всяких оснований, вот этого-то четырехпроцентного, к коему кличка так и примерзла после нитроглицеринного вечера, самым прельстительным мужчиной в пределах солнечной системы. И даже далее, коли-то мыслимо для существа вышеуказанного ранжира. А он разводил какие-то важности неподобающего типа, ибо вспоминал некоторые гнусности, выслушанные не так давно в притоне уже описанном, — «Вам, господин, пивца? только трехградусное будет.... — Ну, и что? — А, может, вам трехградусное не годится, а четырехпроц...» тут остряк должен был спастись от гнева нашего знаконца, что явно указывало, что вся эта канитель заведена исключительно на потеху публики, ибо в противном случае — половой убил бы знаконца нашего не более, как пальцем.

Это воспоминание разъедало самолюбивый дух четырехпроцентного. Он разрывался от негодования: «Меня? — Мне?..» — опять сначала.

А в приятных губах: «Я люблю тебя....я тебя очень люблю....милый и хороший....».

Но герой прочно уселся на кровать, стукнул разом обеими ногами по полу и рявкнул :

— А я не могу жить в болоте. Вот и все!

Тут в устах прелестницы вскипело справедливое негодование. Вот как. Значит, ты, что-то кроме меня замечаешь. И это объективировалось кратко и точно:

— Ду-рак!

— Начинается, — с прокисшей миной промыслил названный.

— Не хочу с тобой говорить. И больше никогда не буду. Понял?

Негодование, сворачивавшее ей брови, дошло до крайних пределов. Она молчала. И рука его немедленно была брошена в воздух.

— Оставь.

— Да — ну....

— Я — сей-час — уй-ду. Понял?

Но трагедия осталась недоигранной. Дверь стукнула трижды. «Войдите» — сказал, позеленев от злобы четырехпроцентный («чтоб вас черти взяли.... шляетесь...»).

Вошел длинный, со всех сторон, несмотря на доброе и отчаянное, распрожженное лето, закутанный в разные платочки и шарфики человек. Длинный, как и все остальное, нос, чуть что не покачивался у своего основания. Человек откашлялся, опасливо глянул в бок на полузакрытое окно и сказал, скрипя самым дисгармоничным образом:

— Ужасный сквозняк.

— Возможно, — репликовал ему четырехпроцентный, подергиваясь от бешенства, — вам то тут что?

Этот нежный и вежливый прием нимало не тронул пришельца. Засунув костлявую и гадюкоподобную руку промеж ног, подсунул он под себя стул, неловко к нему ковылявший на трех ногах и запрыгавший по половицам, — уселся, плотно припахнув ватное пальто. И:

— Возможно-с? Хе-хе кс.... так вы думаете, что возможно, да-да? А? верно? — что вы говорите?

Полдюжины этих разрозненных вопросов, видимо, только что оброненных из «Русско-французских разговоров» издания прошлого десятилетия, делу помогли мало. Девушка сорвалась и крупно двинулась к двери. Четырехпроцентный за ней. По дороге он кивнул гостю: «Сейчас». Тот нимало не удивляясь, мотнул головой будто бы в утвердительном смысле.

В сенцах четырехпроцентный поймал свою гостью за плечи и шепнул в теплые пряди нежных кос: «Он отри-

цает нитроглицерин».

Та засмеялась мягким смехом и спросила шепотом: «Вот этот длинный?» — «Да, нет, — досадливо отвечал хозяин, — ну какой длинный....». — «А кто же?» — «Не все ль равно кто, ты пойми: отрицает нитроглицерин». — «Ничего не понимаю», сказала она, вовсе осердившись, и ушла. Мрачно вернулся разлакомившийся зря четырехпроцентный к себе.

— Ну-с? — сказал длинный.

— Ну-с? — отвечивал хозяин.

— Вам известно?

— Что это известно ?

— Об.... — и говоривший сделал паузу, вновь раскрыв рот после «б».

— Слушаю-с.

—отрицании.... — снова пауза и ужас в глазах замершего слушателя. — Отрицании... да что вы на меня так смотрите?

— Я?

— Вы, а? верно?

— Я — ничего. Вы говорите....

— Об отрицании нитроглицерина, как....

Хозяин вскочил с места, бледный, вытянулся, поднял руки. Собственная его голова уносилась в пропасть и дыры своего обладателя («тайная полиция.... сыщик.... все знают.... пропало...»).

— Я ни в чем.... не.... Да что вам нужно?

— Хе-хе-кс.... да вы зря, в каком смысле «нужно» — в философско-спекулятивном — или я бы сказал....

— Пожалуйста.... я вас прошу («да чего его просить»).

— Отвечайте прямо.

— И отвечу: известно.

— Вот так. Вашу руку. Сегодня вечером — мы у вас. Мы ведь вас давно заметили.

VII

Этой прекрасной морали ничто никогда не противоречило, кроме фактов.

(Вольтер).

Вечер не заставит себя ждать. Это не такое учреждение. Время идет — не спит. На корень из минус-единицы оно еще не вовсе, похоже, помножено, а посему.... Мял четырехпроцентный в руках странную писульку, оставленную ему длинным и страшным гостем, и повторял: «Филь Магнус — Филь Магнус — он отрицает... — но тут мысли всплывались, — а если у меня найдут такое письмо?...» — и замерзал от страха. А что было в нем исписано, он полюбопытствовать не решался. «Скажу тогда, что я не читал.... не поверят...»

Тут он в-пол-глаза глянул на письмо и прочел:

— «...и как всякое насильственное действие... но главное внимание надо... совершенно особым образом извращая человеческие способности.... регресс процессуализма и проч., я же полагаю.... неправота мыслителя с совершенной очевидностью обнаруживается.... обладает самой большой взрывчатой силой, развивая $n + 1$ больших калорий. Это свойство нитрогли....»: — но дойдя до сего сакраментального слова, он остановился в своем подглядывании вещи, ему доверенной. Однако он приободрился.

— Болото: — уничтожается.

— Манечка: — спокойствие и тихое счастье. Или: — еду в калифорнийские каньоны.

— Родственникам: — привет и почтение, ну и разное там, чтобы не ворошились. Одним словом....

— Все: по порядку, изобретатели кличек и несвоевременных — ввиду надвигающихся катаклизмов — проклятий, об-

личающих их ретроградный, а следовательно общественно опасный образ мыслей: на галеры. Разбойников, угрожающих реформации и ее деятелям убийством и гнусной бойней, т.-е. существенным бравизмом — уничтожать без предрассудков и сентиментов. Время не....

— Академии: — процесс кончен. Прогресс объявляется прекращенным высшей государственной властью, как мысль дурацкая, сволочная и существенно вредная, для самой науки вообще и человечества в частности. А теперь самое главное.

— Океаническое золото объявляется общей собственностью в силу чего ценность денег исчезает из рассмотрения. Конкретизируется это так: общая рыночная ценность золотого водо-запаса, равная, как известно..., делится между всеми обитателями планеты и полученное частное записывается на текущий счет каждого гражданина; учреждается Всемирный Банк-банк, который обязуется срочно это сделать и выплачивать немедленно всем по чекам и личным указаниям в пределах текущего счета. До экстрагирования океанического золота Банк-банк расплачивается бонами, одноценными с золотом. Золото поступает в ведение Всемирного Золотого Распределительного Общечеловеческого Фонда и так, как запасы золотой наличности ничтожны в сравнении с океанским золотом, а равны примерно... и все равно ни увеличить, ни уменьшить существенно сумму, которая получится от отмывки броун-движущегося в водах золота, не может — то все оно, это находящееся в монетах, слитках и обжедарах золото немедленно при участии международной комиссии погружается в Антильское море. ВЗРОФ же высчитывает сумму, каковая приходится на каждого обитателя земли и регулирует ее далее, исходя из точно вычисленного коэффициента относительно прироста населения планеты и удерживая мениск мирового богатства на определенной кривой. Бешенный невиданный рост цен определит неслыханный мировой кризис. В ужасе первоначального разгула развалится все это чертово болотце: человечество преобразится. Экономистов и постепенов-

цев — за ноги и в море.... Не в Антильское, а в Магелланов пролив!

Что касается вооружений, то эти дисциплины отменяются. Всякое исследование, а тем паче экспериментирование....

Тут он отер пот со лба и запнулся:

— Не мне об этом говорить. Он сам отрицает....

В это время с великими осторожностями, дабы не уничтожить крохотную конуру Четырехпроцентного — вошли трое: длинный, высокий черный с проседью и угловато-грозными жестами и маленькая, тоненькая женщина с тусклым и заманчивым взглядом. Глянув на нее, разглазелся Четырехпроцентный и еле прошептал «Аня....» — она с решительной веселостью стиснула его руку, и он подивился ее самообладанию.

Длинный жестом руки ознакомил Четырехпроцентного с Высоким и сказал:

— Вот и все мы. Точка. Садимтесь. Письмо, которое у вас, — привез сюда — он (кивнул на Высокого).

И далее:

— Времени мало. К делу. А? Хе-хе-хе-кс.... верно? что вы говорите?

Молчание.

— Открываю — ддэ — собрание. Председатель — он (Высокий), секретарь — она (Аня). Я докладываю. А? вы что то сказали? а? что?

Молчание.

— Вы.... что вы говорите? что?... я начинаю. Должен сказать: Филь Магнус является — я прошу внимания — принципиальным противником насильственного оспопрививания.



VIII

Я мог бы смело начертить на
доске четыре мировые оси.

(Г. Минковский).

Эти четверо спустя немного дней пробирались по веселому утру. И Четырехпроцентный пел (дрожа от восторга):

Увижу, увижу город старый
Родные звуки за собой:
Хлысту подобные удары
Винтовки в улице пустой,

Хор продолжил:

Читал бы я Бюхнера и Маха,
А вы — визжали бы : на вас
Глядит он со стены, дрожа от страха,
Грозный пулею приказ.

И заливаясь от душащего душу восторга: будущих гекатомб и поистине неограниченных возможностей ВЗРОФ-а и прочих имеющих в том же роде возникнуть великолепий — продолжал Четырехпроцентный:

Над вашей злобой покорной
Плыл бы опаснейший злодей:
Качаясь на виселице черной
Приятель маменьки моей.

и проч. в том же возвышенном и освежающем — а это главное — роде. Вы не подумайте, ради неба, что он был романтиком: вот именно, что совсем наоборот: он был ма-

териалистом и позитивистом, т.-е. безошибочно понимал разницу между трупом и нетрупом: а это и решает дело в данном случае. Он был самую чуточку сентиментален, но это уж совсем другое дело и об этом еще придется говорить в дальнейшем, если это дальнейшее осуществится.

Лужайка простого убранства с безхитростным стилем, в коем, по уверению Бальзака, нет ошибок, легла так просто и ясно к их постыдным конечностям.

Уселись. Закурили. Так себе интеллигенты — и ни бум-бум более. И никаких тараканов и собачьих блох. Девочка улеглась, подпершись локтями: «Вы что смотрите» — «там тропинка» — «и ну» — «ну и вот» — «непонимаю» — «да и понимать нечего». И пронзенный презрением к женщине (сволочь, дура, корова, самка, менструирующий кенгуру и т. д.) Четырехпроцентный возговорил. Он не пел о блаженстве райских духов, его это мало касалось: — собственному взору он представлялся сам в этом роде, и мечтал об соответствующей обстановке. Вот как.

— Мы должны обставить дело так, чтобы все, что было бы нами сделано, было бы действительно сделано, — вы понимаете?

Длинный мотнул ослиными челюстями, — что дескать, понял, нас тоже ведь — не пальцем....

Высокий въехал в разговор, как триумфатор на белом коне:

— Филь Магнус — я мог называть его просто Филь, но я этого не делаю — сказал им однажды, когда они пристали к нему: «Вы уничтожаете азотную кислоту» — каково?

Общий изумительный шопот сдержанного негодования подтвердил, что в сердцах слушателей азотная кислота стояла на одной полочке с нитроглицерином, оно и естественно.

Скрипливый женский голосок:

— Есть такие люди.... это очень трудно рассказать, — вот Магнус, как раз такой.... Он все понимает, а это самое главное.... Очень трудно, когда тебя не понимают. Даже невозможно. А то вот такие люди, они как старое, старинное такое вино, — я не умею говорить.... я не люблю говорить, —

не надо никогда лгать или притворяться, это очень нехорошо и мучительно для других, надо сразу все говорить, что думаешь, вот Филь Магнус, он сразу говорит.... И он как вино, чем больше пьешь, тем больше нравится.... Мне один знакомый, очень мягкий и хороший человек, сказал раз.... нет лучше этого не рассказывать, я не хочу на кого-нибудь намекать, пожалуйста не подумайте, но все таки....

Это вразумительнейшее разъяснение Филевых свойств и качеств подбодрило собеседников. Заговорили все сразу. И все говорили одно и то же и совершенно одинаковым образом. Четырехпроцентный почуял в голове некий неподобный вихрь, понял, что он чуточку рехнулся и заметил, что его личность раскололась на четыре фрагмента (он, Аня, Высокий и Длинный), в голове у него здорово сразу замолело, он сообразил, что все погубило уже невосвратно и влип в разговор :

— Ды-к о чем же он говорит?

— О натриаммонийном рацемате....

— Долой людоедов, долой реформистов — это самое вредное племя на земле....

—будем играть в солдатики и проч....

— Вы, безжилые нищие! Вы, носящие вязигу вместо спинного хребта, вы, завидующие кошке и таракану, вы, сплошной узел перепутавшихся от голода кишек. Не стыдно ли вам, что еще есть на пространстве трех измерений — довольные люди?

— О мерзость, стыд и паскудство!

—довольные люди, обрежьте им ноги, обломайте им плечи камнями, мы не з а х л е б н е м с я в крови, нет, чорт с ней, с этой грязной водицей — человек, которого рвет кровью два раза в день, равнодушен к этой жидкости.

— Куда исчезают лучшие продукты вашего хозяйства? Они проваливаются в несоизмеримые глотки уничтожателей азотной кислоты.

— Так заставим их питаться подогретой водой, а хлеб из лузги и коры отвешивать каратами. Разве вы не видите, что вы столь же всемогущи, как пьяный курильщик у похоронового погреба....

— У погреба, где хранится нитроглицерин, который мы отрицаем....

Синекрылая стрекоза дрожала и взлетала мелкими летами над ольхами, слепень с раз маха внедрялся в кожу и, аккуратно сложив крылышки, предавался чревоугодию. Бедняга не знал, что он пьет кровь нейрастеников, чрезвычайно легко проливающих оную, раз она принадлежит их ближним, но расстающимся со своей собственной с великим огорчением; перетянутые ночными страхами нервы в мановение ока докладывали по начальству: «боль, боль», — лицо кровопивомого искажалось ненавистью, рука щелкала, и слепень валился замертво в густую, разомлевшую траву. Там и там в высоте стоймя стояли большие коричневые прозрачнокрылые стрекозы, вдруг параболически метались они и по сложной кривой в миг исчезали. На камышик у ручья вылезало серенькое чудовище с динамомашинной и фрезерным станком вместо рта. Оно дулось и пучилось, спинка лопалась: оно выходило из себя. Вышедши, усаживалось на свое бывшее «я», сушило на солнце слипшиеся крылышки и интерферировало ими золотые лучи полдня. Затем оно делало движение — тогда лазурные страны принимали его легкие движения — и еще одна стрекоза с бирюзовым тонким брюшком, планировала над позеленевшей от жары и удовольствия лягушкой.

— Современность гибнет и гибнет на наших глазах от болезни гигантизма...

— То есть.... позвольте, куда вы?... я ничего не понимаю....

— Я тоже.

— И я.

— Какой гигантизм, вы — смеетесь, я вижу.... О! паскудная и паршивая мелочь!...

— И эту то мелочь....

— Вот именно.

— Вот это верно, браво!

—эту то мелочь я предложил бы....

— Ну да.

— Ну, конечно!

— Однако, господа: ведь Филь Магнус разрушает чело-
веконенавистническую гипотезу о так называемых избран-
ных народах — ирония его отвечает нашим врагам (нитро-
фагам): все народы более или менее избранны. Вот что го-
ворит Филь Магнус, — а другие разряды избранников будут
установлены немедленно, ибо нет сомнений и не может быть в
том, что мы суть — избранники...

— Принцип разделения и властвования нуждается в под-
новлении. Это дело десяти минут, и мы его сделаем.

Высокий мрачно глянул в тончайшую лазурь, кашля-
нув, сказал:

— Дайте папироску. И огня....

Но увидев, что собеседник завозился с зажигалкой,

— Ну начинается этот.... спиритизм, — сказал с отвра-
щением и преодолев жару, повернулся на бок, залез в кар-
ман и чиркнул спичкой. Огонь бледно призрачил на солн-
це, отливая синим, чуть желтым. Покинутая в траве спичка
пустила струйку сине-серебристого дыма: маленькая спич-
ка исчезла в мечтах и языках трав. Коршун с высоты глядел
на все это, — «чи-иль» — говорил он, как брат его, следив-
ший Маугли в объятиях Бандар-Лога, обезьяньего народа,
у которого не было закона и который боялся Каа, пятни-
стого питона....

— Мы вытащим на свет божий пару совершенно про-
гнивших гипотез...

— А у них и этого нет...,

— И потом мы — избранники.

— Гипотезы эти будут повторены миллионами ртов: то-
гда они станут истиной. Держись!

— Мы оденем их в рогожные мантии и увенчаем битым
стеклом. Раса беспечальников, а ну-ка, покажи из какого
ты мяса? мы устроим тебе новые Четьи Минеи, ты поте-
ряешь счет своим трупам. Мы не оставим тебе и детской
надежды: тебе, не удастся выжить только за счет нашего
мяса, ты будешь ходить по базару, говоря на языке Ворд-
сворта и Леопарди: — и на этом языке ты будешь предла-
гать собственную берцовую кость в обмен за полтора дня

жизни, — и никто ее не возьмет у тебя, о срам солнечной системы! Ты пучишься — ты иной консистенции, чем мы....

— Но ненависть и обжорство — общее достояние!

— Долой неравенство в этом слишком человеческом пункте!

— Ничто мы объявим предполагаемым (а стало быть и существующим: таковы постулаты истинного релятивизма) и искомым раем, а азотников мы развесим кругом за ноги: качайся и любуйся....

— Горбатый нос великого Филя будет сиять на каждом перекрестке; вот этим то носом мы и зарубим, тех, кто ест нашу азотную кислоту.

— Вот это то и называется: зарубить на носу.

— И вот вам моя рука и обезумевшая голова: — это доказательства, — клянусь вам, дети и братья: если вы не будете нас слушаться — если вы не будете нас слушаться....

— Если они не будут нас слушаться — о!..

—лопнет ваша территория обученных прыгать фоксов с укороченными хвостами...

— Лава извергнется из трещин!

— Лиссабон содрогнется и восплачет Мартиника.

— Сокурашима осядет от зависти!

—и вы будете поглощены расплавленной магмой.

— Это доказано с невероятной силой и ясностью, точностью....

— Точностью — в пятом манифесте Филя Магнуса. Поняли?

— Эсхатологию старых времен мы потопим на помойке: не беспокойтесь, новая уже изготовлена.

— Я же не желаю, чорт вас всех побери — сходить с ума от страха всего на всего только из за того....

— Всего на всего!

— Только из за того, что у вас не мозги, а такое подлое месиво....

— В которое не влезает эта в первый раз выросшая перед миром альтернатива.... я недостойн ее сказать. Аня!

— Я скажу: Филь! — Филь Магнус.... или совсем больше ничего.

— Ну да, ну да. Ведь этот момент нельзя пропустить, это было бы преступлением перед собственным....

— Остроумием, не говоря уже о животе.

— Ну да: причем тут, спрашивается, живот: желал бы я посмотреть на того, кто намекнет на мой живот: он его больше не увидит.

— Такие альтернативы вылезают на свет божий раз на две тысячи лет.

— Дураки, обезьяны, карлики, мухи и крокодилы....

— Битые горшки, модели Ноева ковчега, трипанозомы....

— Чортовы гвозди, скотопромышленники.

— Ужели же вы упустите случай лизать чьи-нибудь подошвы на совершенно новом заметьте — основании?

— Теперь я взываю просто к вашему человеческому достоинству: вы же не дикие звери, которые не понимают, что можно не сопротивляться, когда тебя ведут резать, душили или убивать электричеством.

— Будь же проклято время и мир, наполненные ненавистью, злобой и орудиями убийства. Систематика и морфология убийства. Системой наиболее удобного и принятого подавляющим большинством убийства определяется форма правления страны. Глупо говорить: «Англия парламентская монархия» — надо говорить: «Англия — абсолютизм виселицы, Франция — сатрапия гильотины, Соединенные Штаты — тирания электрокуции» — и так далее в том же роде. Здравый смысл уничтожен Лоренцом. Радиоэлектрон уносится по гиперболической ветви. В этой буре горя, проклятий и жалоб....

— Я пойду, — спокойно произнес Высокий, замахиваясь пальто.

— Идем, — ответил другой.

Аня осталась, напряженно глядя в распаренные дали. Ясно было, что это занятие ей надоест через пять минут, и тогда ее соседу не будет оправдания.

Но он не глядел на нее. Выл себе, да выл. Я-да я. Мне-да мне и проч.

—как заливается и плачет мое маленькое, малюсенькое горьице. Оно несоизмеримо, оно иррационально, оно не может наконец быть корнем никакого уравнения, а, стало быть, оно трансцендентно, а потому можно полагать, непознаваемо. Это открытие теофанично по существу. Впрочем это не относится....

— Что это ты говоришь?

— Сейчас, подожди чуточку. Так значит.... А я — головастик, паучинная бородавка: не человек. Раз, когда я упал, застигнутый тем, чего не хотел бы никому рассказывать — или лучше всем, всем — поделиться.... и слезы мои мешались с долгим плачем счастливого дождя — чортова мельница сороконожкой злости расковыряла мой мозг с истинно обезьяньим любопытством....

— Алеша....

— Подожди. — Будьте же прокляты ярость и злоба, качающие землю от полюса до полюса. О, славный добряк Котопахи, съевший однажды 40 тысяч человек за один прищип, чудак, простак, добродетельный отец, где же тебе, добродушный великанище, лопавшийся базальтом, равняться с заводами и установками по массовому и циклическому убийству. Там бьют, бьют, бьют года и века....

— Ну слушай. Ну что то говоришь!

—И я в этой буре, раздрызганном по небу море крови — я теряю, теряю единственное, маленькое, крохотное, как мышенок, счастьеце, — один синенький листик.... вот и все. Ну что ж, такому бедняку, как я — это все: весь мир в этих чертах и словах: я только человек, не более того.

Она сидела тихо. Опустив голову, на него не смотрела.



IX

Ну рассказывайте же, воскликнул Крейслер, чтобы и я мог пореветь вместе с вами.

(Ком Мур.)

Четырехпроцентный находился в глубочайшей депрессии. Влезши в свою каморку, он осел на кровать и продолжал жевать свою желчь и свой вой. Что делалось в этой жалкой и пустой голове, — обладай автор сего любопытного эпизода инициалами Байрона, фонарем Диогена, шляпой Боливара, бессонницей Корбьера и почерком Эредиа — и тогда бы он должен был воскликнуть: «Увольте — не могу описать».

Будучи приставлен к своему персонажу, как судебный пристав приставлен к иным персонажам, не соразмеряющим своих поглотительных способностей с оформляющими, однако, все же он должен попытаться. День сиял тем же страстным блеском и тишь улички, еле прописанной по краям веронезом и зеленым лаком хилых, но блестящих травинков, — во образе чуть замолкающего ветра входила в комнату, шевеля отставшие обои. Была до чрезвычайности умилительна эта небрезгливость ветра: он не обижался, что в комнате грязища и мерзостыня, что там на «Вестнике Европы» за май истекшего года покоились три окурочка, одни из коих прожег красную обложку, на окурочках лежала книжка по пчеловодству, на ней бумажка и на оной хвост сельдя, сверху потерянный уже с неделю носовой платок и в дальнейшей последовательности: перочинный нож, замызганный хлебом, паспорт, «нильский» Фет, развернутый пополам, корка, другая, лист бумаги с неконченной диаграммой, а сверху сомнительного свойства полотенце. Ветер весело дул, и не попадал себе в ус. Прохладой ходил он по

комнате и трогал шелковыми руками то и то. С его точки зрения все заслуживало ласки. Аня уселась. Какая то книжка развернулась — все равно.

Четырехпроцентный продолжал:

— Ну что все эти жадные и холодно сластолюбивые руки, играющие моей жизнью, что эти злые взгляды, яростные губы — бежать, бежать! Разве мне жить в этих тяжелых озерах, пронизанных тенями будущего тления, — и так терять я единственное счастье, которое....

— Слушай: знаешь, что кажется.... ты вот это все говоришь точно по книжке.

Он с досадой отмахнулся:

— Ну и не слушай. Не все ль тебе равно.

Тут он поглядел на нее с недоверием. Мало ли, что она там рассказывает. Понятное дело, она хитрит, а самое важное скрывает. Правда, неизвестно было, что это такое за «самое важное», но привычка швыряться невыясненными ощущениями тащила далее. Назревало решение: «мерзавка». Однако полная изоляция пугала нашего героя. Чорт его знает.... и пр. Изоляция хороша для столпников, которым не дают спать лавры Лотовой жены. И: «я ей не завидую в конце концов». Человек животное коллективное, да и не в этом дело....

— Юношей бродил я там — осенними днями — с ящиком постели и этюдником в руках, так горячо впивался в долгие железно-дорожные пути и их серые заборы, насыпи и сизые ранней весны небеса, когда только что жухло высохли крыши. Яркий бакан товарных вагонов, трамвайный вагон, только что приехавший с завода и отдыхающий па запасе вместе с ледниками и иными специальными вагонами загадочной и точной конструкции. И вот — и вот — эти желтые листья....

Она вздохнула, по терпела.

Хозяева домишки праздновали нечто. Из соседних комнат горячий и душный запах попойки разливался далее: вис в воздухе табак, какой-то — не дай Бог — фиксатуар, водка, селедка, лук, уксус, просто чад непросветный — не хватало для полноты этого ароматического оркестра сернисто-

го водорода и какодила, тогда бы все было в порядке. Празднество отмечалось усиленным потреблением неперева- риваемых веществ — туда им и дорога. Стукалась чья то голова с чрезвычайно правильными интервалами о пере- городку. А тут еще вой..., фу, — полагала девочка: — а уйти жалко, хотя все это он совершенно зря.

— Ну вот, пожалуйста: сойду с ума и обязательно. Пута- ница, ничего не разберешь, противно и проч.

— По порядку: деньги — их нет; та... вот эта ты не знаешь, — Бог с ней; я уж совсем старый, много ли трепаться здесь осталось, страшна ли смерть, когда очень устанешь — все равно; во сне видел извержение вулкана, красиво и жутко — какаянибудь дрянь случится, хотя глупо верить, а осто- рожность не поможет.... и еще много, много, без конца: на- доело. Жизнь кусается и наказывает (а за что — не пой- мешь) — ты вертись. Устал вертеться. И скучно.

— Ну что же делать?

— Так родится время в грохоте труда, оледенелых гла- зах и погибающих от усталости. Рожайте время, — обломан- ные ногти, окровавленные пальцы.

— Но клин клином! Уничтожайте уничтожателей: — знае- те ли вы, как варятся щи из топора, вот мы вас обучим этой божественной химии, ибо нет на свете более благородного занятия, чем указанное топороварение. Мы вас обманем с такой детской простотой, что сам чорт будет нам завидо- вать. Мы преобразуем формулу вашего существования: — а вы будете думать, что мы вам составили новую, — вот оно в чем дело то.... Это чудное время будет называться: *вос- стание мизантропов*, — вот как.

Она подошла к нему. Наклонилась к нему пронизатель- ными и далекими глазами, погладила по волосам, — он не- ожидално чуть не до слез смутился — серьезностью и со- средоточенностью мимолетной ласки. Подумал осторожно, боясь что-нибудь обидеть у себя: — «надобно искать в че- ловеке, где у него это начинается....» «Э т и м» хотел наз- вать то, что просторечие именуется душой. Путался неве- роятно, сидел перед ней на кровати и удивлялся. Собст- венные жесты оказывались мелкими и грубыми. Расска-

зять другому — не расскажешь, ей сказать — пожалуй, лучше не надо. Она застесняется, а еще хуже — обидится, подумает — «идеализация», а это, как известно, операция самого невыносимого свойства.

— Прощай, — сказала она и слеза упала на грудь, — я пойду.

Один он вовсе вздулся и полетел туда, куда ни Макар, ни прочие глобтроттеры... и т. д.

— Боже мой! Господи, Владыко! Боже мой. Господи, Боже мой, Боже мой....

Хотел помолиться, но дальше этой тирады отвычка от этого, казавшегося предосудительным, занятия не увела. Свалился, как дурак, на пальто да и заревел белугой. Вспомнил, на грех, как в церкви поп за обедней молится о плавающих, путешествующих, недугующих и плененных — вовсе дух захватило.

— Господи Боже! Владыко, — миленький мой, сердце мое... Господи! — и опять сначала.

Нечего сказать, занятие. Мало ли женщин на свете, слава Богу, этого добра, пока что хватит. «У ночи много звезд прелестных...» но как в тексте, так и всюду: «но ярче всех подруг небесных»....



Х

За фамилией следовала длинная и, можно опасаться, ироническая вереница букв.

(Честертон).

Он проснулся ночью, в горячем поту. Во рту было сухо и препротивно. Пошел за водой, но она оказалась теплой и какой то липкой. Вошел обратно в комнату. Спать не хотелось, а делать было нечего. Спал в одежде и все тело, по этому поводу, неосновательно прогретое и напотевшее, испытывало препротивный зуд. А ночь пахла мятными пряниками, ворковала еле слышными, заплывшими далекими облаками громом и рассверкивалась серебряными зарницами. Черные с серым небеса вдруг загорались — тут выяснялось их сложное и прекраснейшее строение: над серым низком были собраны — далеко, — пушистые тонкие тучки, а высь была занята высоко улетающей неподвижно-перистой тучей, которой зарница придавала молочно-золотистый оттенок. Мгновенно сгорало полнеба и все умолкало. Четырехпроцентный вздохнул и сел на стул. Тьма, скучно. И страшно. А огонь зажигать — канитель, Бог с ним, с огнем. Толку от него — чуть. Начал было думать об умных вещах и океаническом золоте, имеющем выпотрошить мир, а потом вдруг:

— А зачем я это думаю? Это я себе придумываю.... да. Вот, — а придумывать нельзя....

Тут вспомнил о Стриндберге и завертелся на стуле. Каким соловьем разливался этот самый Стриндберг, распиная пустынький необитаемый островок. — А психиатр тычет в эту лирику пальцем и из под очков швыряет кусочки своей диагностики, стукающей в эти нежности, как молоток оценщика на ликвидации семейного счастья, — мания преследования. Мания преследования, ясно и просто. И по-

лучается: *темперированное помешательство — пища богов. Вв-ва!*

Четырехпроцентный дергался от всего этого добра, путал собственные мысли, постоянно подозревал их в фальши и вранье на полтона, а к логическим построениям относился с убийственной подозрительностью. Этими то мерами он и довел себя до полной невозможности разбираться в мыслях и желаниях, напоминая того анекдотического парикмахера, который уверял, что один из его клиентов после стрижки и бритья, отказался платить за оные, так как вслед за этими операциями не узнал себя в зеркале.

Вновь и вновь в открытое окно сунулась ветрова морда, а с ней и первые капли дождя. Четырехпроцентный обернулся к окну и немедленно тихо завыл от ужаса: — перед окном стоял высокий черный человек и смотрел на него: ясное дело, что это был сам Вельзевул, явившийся отправить нашего друга к своему барину в лапы. Четырехпроцентный, еле дыша от пулеметного сердцебиения, подполз к окну и не глядя на черного, начал его шарить рукой.

— Ну что? — сказал диавол, — ну чего это вы? Удивительно.

— Ффу, — сказал Четырехпроцентный, узнав своего Высокого приятеля, — а мне что то, знаете, показалось.... Так, знаете, у меня с нервами неладно.

— Глупости, — отвечал тот. — Не надо ничего бояться, — нашему брату до самой смерти ничего не будет.

— Это, конечно, — отвечал успокоенный прибытием живого человека Четырехпроцентный, — это вы верно говорите, я и сам так... Да что же вы стоите на дожде? Этак с вами и до смерти еще чтонибудь случится : я хочу сказать, вы лихо здесь вымокнете.... Идите ко мне. Я вас сейчас проведу.

— Не стоит, — отвечал тот, — я пойду: гроза собирается. Я вам тут одну вещицу принес.

— Подождите, — говорил Четырехпроцентный, который боялся его упустить, — я сейчас. И вылез к нему в окошко.

На улице было чуть свежо и крупные, как ягоды, теплые дождевики сбегали вниз па щеки по волосам.

— Видите ли, — говорил Высокий, — я полагаю, что единственный настоящий материализм был создан Борухом Спинозой. Это глупости, что его там пантеистом чествуют. Не в этом дело, — он же не такой был человек, он отдал родственникам все имение, а себе оставил одну кровать, — а Кант государыням нежности писал. К юдаизму он имеет отдаленное отношение, говорили, что он от Абарбанеля, — ерунда, это я вам положительно говорю. Истина субстанции установлена им же. Так: он и Декарт. А Ньютон — жалкий обскурант, — совершенно серьезно вам говорю. Он на два века задержал торжество истинной науки. После Декарта нет ни философов, ни ученых. Никто из нас не достоин даже подтвердить его учение, не говоря уже — опровергнуть его врагов: а имя им Легион, во главе их Кант и Ньютон. Ошибка думать, что Кант и Декарт вместе — сказки. Декарт однажды стоял в Голландии перед плакардой, — вы будете менее возвышенны на допросе Страшного Суда, имейте это ввиду....

— Я понимаю....

— Это и есть истинный энтелехизм, если такой возможен. Я полагаю, что нашим представлениям в мире соответствуют объективно существующие вне нас и вне какой либо и всякой от нас зависимости явления. Уразумение их, их системы и есть единая задача мира. Субстанция мира существует уже только по тому одному, что иначе мы просто перестали бы чтонибудь понимать. И все эти вшивые монахи в роде Оригенов там оказались бы не более неправыми, чем вы... Понимаете?

— Да, конечно....

— Так вот.... Так вот, значит какие дела... Что это я хотел сказать? — Да, существование мысли, как таковой — есть единственная достоверность. Поэтому прав Декарт, полагая, что человек с ушами и поджелудочной железой — ну и там со всем прочим — был бы таким же человеком, каким он есть во всеобщем представлении, независимо от того, есть ли у него душа — или нет. Инструментальный позитивизм гадость и паскудство. Они теперь забыли самое главное — и хотят — обратите на это внимание — иллюзию и подчинен-

ные ей явления ввести в круг непосредственного опыта. Но ведь мировой эфир не имеет касательства к линзе. Отсюда вся эта чертовщина — вплоть до имажинативных представлений теософов. Это очень важно, между прочим, — влечение врагов Декарта к иллюзорному миру, принципы которого стараются они выяснить. Инфра-мир и супра-мир суть тени мира, то есть тени нашего мышления и ничего больше, — это надобно понять. Это — единственная твердая почва... Понятно?

— Ну да, — заторопился Четырехпроцентный, — даже очень, очень понятно. Только я, видите ли, боюсь с вами согласиться. Вы, по своему, конечно, очень правы, — и я! отлично вас понимаю. Вы чрезвычайно точно и твердо все это очерчиваете. Тут приятна, ваша поза — она замечательна, ее можно заподозреть в героизме, — безо всяких шуток. О-о — это весьма все важно.... Но-о.... но.... Вот я боюсь с вами соглашаться.... 'Го есть тактически — нет и тени поражений, нет, нет, нет — спаси Бог.... Но ведь не в этом дело. Конечно, мы с вами не разойдемся в вопросе о том, что лошадь — как лошадь, и есть лошадь и только.... Но вам, конечно, не это ведь интересно, правда?

— По правде то сказать, вопрос о лошади самый важный; к нему в конечном счете все сводится. И вы его решаете....

— Нет, я его не решаю, но готов решить одинаково с вами. Тут отступление и маленькая тонкость. Вы только не сердитесь, ради Бога. Ведь не в этом же дело.

— Да чего же мне сердиться! Мы с вами в главном сходимся — значит, мы вместе. Остальное — пустяки. А философия — это потом.

— Ну да, конечно. Очень приятно, что вы меня понимаете....

— Но вот что. Я вам принес мой дневник. Это о Филе Магнусе. Тут довольно много, вы пропускайте, что будет скучно. Но нет поучений — вы понимаете, я же так к нему отношусь, — они особо, и их у меня в настоящий момент не имеется. Вы — почитайте.... тут, видите ли, есть кое-что.... это ведь такой человек.

Три минуты мял Четырехпроцентный руку приятеля в собственной. Он был совершенно растроган, — ведь вот же есть люди, а тути дальнейшее в том же выгодном для Высокого роде.

Гроза не шутила. В восторженном и высоком пламени забелела странно и до странности ясно окрашенная окрестность, а там наверху, где, как уверяют многие и совсем неглупые люди, решаются судьбы мира, нечто лопнуло сразу, в единый миг в колоссальной, киклопической гармонии, разрешив мировые антиномии ужасающим аккордом. Ты, мировой контрабас, ты взял эту ноту, это величественное доказательство неведомой и непонятной бесконечности — под нее метали стрелы в пещерного тигра с саблевидными зубами голые люди: — они-то и составили лошадиную философию, которую с таким трудом пытался себе и собеседнику выхвалить Четырехпроцентный, услышав ее в миллион-первый раз от нового пещерного человека. Но листья бурей улетали по ветру, тот свистел, заливался, с криками, тресками, — страстно бросался он к перепуганным березам и охватив их громадными длинными руками, — танцевал с ними так, как он всегда танцует, когда веселится и дышет от всей души. Приятели спрятались в подворотню, — а дождь обратил землю в сетку приподнимавшихся брызгов и умирающих капель. Уже налево закипал ручеек и, немало не смущаясь, бежал по наклонной плоскости, ускоряя свой бег. Вновь завывли деревья, и в лица бросились занесенные ветром капли, тополевый листик тихо пристал к щеке (и был снят машинально и растерт рукой) — вдруг все смолкло: тут окрестность озарилась и зарябила им в глазах, раздался треск — высокий тополь бессильно распался на две части, мягко пригибая шумные ветви, а потом грозно грохнувшись..... но тут же в тот же самый миг, не успел еще глаз надивиться смерти дерева — ухнул Илья над самым ухом — и высокие духи раздрали небо от края до края, — герой вспомнил Языкова и, приложив руку к бьющемуся сердцу, сказал шепотком: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф, исполнь небо и земля, славы Твоя». Повидимому, это было магическое изречение, ибо рефрен его был покрыт

той же невероятной и великой октавой воздыхающего мира. Мир жил, а человек стоял и удивлялся. Но по маленьку стихло, и гремело не так часто и не так громко.

— Я вам еще скажу, — говорил Высокий, Гегель был совершенно прав, полагая бытие и наше «я» по существу тождественными, но ведь там чего кругом не было накручено, но вот вам новое этого доказательство, — он указал рукой на волнующуюся окрестность.

— Боже мой, — воскликнул Четырехпроцентный, — ну, спаси меня Боже спорить с вами об этом: конечно!.. Это замечательно, то, что вы говорите, — честное слово: вы, меня потрясаете! Я никогда не думал, что вы Так можете говорить и думать! Вы меня простите, ради Бога, но я вам скажу, — вы мне совсем не таким сегодня показались, когда мы о Филе говорили...

— Это другое дело: тут начинается война, — а это вещь определенная, и требует определенных действий от каждого; зачем же все это смешивать.

— Не знаю, — ответил наш герой, — мне вот все-таки трудно все это по вашему разделять. Однако, продолжайте....

— Ведь процессуализм, как миропонимание, существует с давних времен, но введен он нам в мысль Гегелем, — вы вот, пожалуй, скажете, что это введение бедно там, и все такое, а потом еще более обеднялось, — но ведь тут объединяется волк и пастырь — так?

Четырехпроцентный промолчал. А тот:

— Движение существует или нет, да существует. Да: мир движется. С ним и мы. Это-то вы признаете?..

— Вы, пожалуйста, говорите, я потом сразу скажу...

— Ну, отлично. Вот во всем этом и переплетается чистейший индивидуализм с чистейшим коллективизмом: — но ведь это и есть искомая гармония... Я пропускаю соединительные моменты, но вы понимаете меня?

— Да, да...

— То, что ощущается, и есть высшая достоверность, ибо другой мы не имеем, исключая диалектического метода систематизации и симметрификации. Он и есть высшая точ-

ка человеческого духа, ибо он поднимает нас на высоту, где уничтожается жизненная рябь — это раз, а, во-вторых, всякая и любая рябь подлежит рассмотрению в его форме и методе, — этим-то он и велик, что приходится по росту любому явлению, и любое втягивает в жизненный процесс. Но Фейербах съел Гегеля — в этом же нельзя сомневаться. Не даром же Гейне говорил, что Фихте напоминает гуся, у которого его страсбургская печенка переросла его самого...

— Но, простите, ведь так вы из этой схемы не воспользуетесь...

— Так только в ней и можно мыслить истину.

— А мне вот кажется, — вы не подумайте, пожалуйста, я вам ничего не хочу навязывать, — истина есть идеальная объективация ума; тогда жизнь есть его последующее разоблачение, так вот говорили гностики, это очень, конечно, опасный пункт...все это.... ..да.... Но вот еще парочка недоумений: вы говорите об гармонизме, — а синкретизм, лишенный пифагорических элементов — существует ли? Вы говорите о правде ощущения, — таков Кабанис, а за ним и Копт: — и оба занялись душой под конец жизни. Вы, я знаю, будете на Демокрита ссылаться, но ведь не даром его учеником этот чудак Гиппократ был, и у обоих, кажется, были магические сочинения. Потом: а как же быть с Гоббсовой вечной войной? но это-то вам скорее другого будет понятно. Ваше все, простите: — пусть это вам не покажется резким: — это какая-то греческая гомойомера, смесь неизменного, в этом смысле вы правильно отражаете жизнь, но только в этом. Ваши дальнейшие положения обязывают вас не признавать за этой смесью никаких прав и возможностей, — вот вы уже и индивидуалист, но с другой стороны ее мощь говорит, что только она сама и может победить себя, тут вы коллективист, и вам уже недалеко до Гоббса, и вы можете в полной мере рассчитывать на целую половину по меньшей мере, ругательств, доставшихся на его долю. Тут получается логомахия и перетекание понятий из одного в другое, — таков в конце-концов и Лейбниц, который

боялся острых углов. Вы — невероятный эклектик — в конце-концов, вот что смешно.

— Так что ж, что смешно: комическое имеет свое место в мире, и не мне его отрицать.

— Ну-да, ну-да, но ведь нет иного способа освободиться от внутреннего безобразия, как облить их кипятком издевательств, — надо прыгать выше себя, как говорил Курилка у Кота-Мурлыки, — тогда мы получаем борьбу элементов сущего в прекрасном и благороднейшем аспекте. Вот хваленый Гофман тем и плох, что победа светлых начал у него (я понимаю, что такая победа по существу — неестественна, потому то с ней так и трудно обращаться) разлагает его юмор... Это я ведь серьезно о неестественности светлого: его все боятся и избегают, — даже в «Генрихе VI» у Шекспира ему отведено последние пол странички, хотя это и имеет свой смысл: прелюдия кончилась, светлое победило, — начинается жизнь: — вот где она рождается, чорт возьми! — чуть не закричал Четырехпроцентный.

Собеседник ухмыльнулся.

— Ну, конечно, — продолжал тот, — Фалесова вода это то же самое, уверяю вас... Но, впрочем, это не то. Вернемся. Так вот, значит... Юмор тогда разлагается в пастораль, которая, так кажется, не имеет никаких внутренних оснований. Это впечатление зависит от того, что он, Гофман, пользуется при описании искомого мира — аллегорией, мрачной экспланацией опустошенных схем на живой организм. Но то, что ему приходится прибегать к этому тропу, убивает все, что он делает, — и это разумеется, не случайно. Я не вкладываю в последнее утверждение какого-либо особого смысла, — просто это у него везде, и для случайности слишком систематично. Мы подходим, видите ли, к природе с нашим единственным орудием — сравнением — когда так: мы ее заставляем мыслить на наш лад. Вообразите же себе теперь изобретенную природу. Тут вы лишаетесь почвы, оправдывающей существование вашего сравнения....и вот изобретенная природа разлагается под вашим сравнением и остается аллегория. Без вот этой земли — мы ничто.

— Я так думаю.

— Да... Но Гофман — бредовик, вроде Боделера, — это ведь самые неблагодарные люди, — он хочет субъективно существующий мир наделить объективными свойствами — и теряет точку опоры. «Я» опирается на землю, «я» не может опираться на самого себя, хотя оно и равняется самому себе, уже по одному тому, что последняя идея по существу — синтетична. В общем я неведомо куда уехал от нашего разговора.

И он рассмеялся с полным удовольствием.

— Как пахнет вкусно.

— Да, — ответил Высокий раздумчиво, — приятно, очень приятно. Ну, отлично — поговорили всласть. Прощайте.

Они разошлись очень довольные друг-другом, но не без злорадства и сожаленьица. Четырехпроцентный думал, что Высокий все-таки лошадь, и что если эту лошадь спустить — концов не соберешь, а спустить придется. А Высокий думал, что все-таки Четырехпроцентный — мистик и звездоточий, и что он им всю кашу в конце-концов испортит этой своей философией, от коей видимо, отрекаться не собирается. Но все же — умный человек, а наукам надо покровительствовать.

Четырехпроцентный забрался к себе и сел у стола. Чуть светало. Он подумал, как вот сейчас запоют петухи, мысли его разъехались, где-то что-то щелкнуло. «Странно ведут себя петухи сегодня» — лениво, лениво подумал он. «Щелкают вместо того, чтобы петать — это уж вовсе глупо». Затем он покинул мыслью свою комнату и переплыл на лужайку, где не обнаружил ничего замечательного, а спичку вчерашнюю не нашел. Вернулся домой. Был день. «К вам тут заходили», — сказала хозяйка. — Вошел в комнату и увидел две визитных карточки на столе, на коих было изображено: на первой: «Антонио Скиапарелли, марсианин» и на другой: «Лемниската Яковлевна Бернулли». Эта самая лемниската немедленно начала перед его глазами завиваться с несказанной быстротой, сплетаясь в Марсовы каналы, и уже думал Четырехпроцентный выкупаться в одном из этих каналов, начал уж было растегиваться, как перед ним

предстал Высокий, сделал воспретительный жест и сказал : «Ну, это, брат, уж богоборчество....» и снова повторил свой жест, который оказался по его же разъяснению «запретительным грифом» пробирной палатки. Отсюда немедленно вытекло, что Высокий и есть гриф, и он только зря притворяется, что он не птица — а сейчас обнаружит все свои птичьи свойства, т.-е. оборвет Четырехпроцентному в ежеминутие голову, голову, голову, — да, вот именно, что голову... — заорал благим матом наш персонаж, и очнулся от своей одури. Потянулся не без удивления. Лег с намерением приняться на другой день за Филево жизнеописание, о коем в дальнейшей главе.



ХІ

Нигде так не вежливы с дураками,
с которыми приходится встречаться
ночью, как в Багдаде.

(Шехеразада)

«16 мая 1913. София после войны производит дикое впечатление. Город скучает, беднеет, ревет и набит проходимцами. Соседи рассматривают Болгарию, как свалочное место для всякой сволочи и шпионов.

«Правительство ведет себя с ними странно. Видимо, для лучшей обработки всех их сгоняют в один окраинный, но миленький отельчик. Обработка заключается в следующем: или их чуть что не облизывают или уничтожают самыми простейшими средствами. Довольно глупо на это со стороны смотреть.

«Смеялся я на этом убежищем зря. И я туда же попал.

«Есть три здоровых человека, которые хохочут. Остальные подлежат обработке.

«Сегодня приехал вечером очень интересный и странный человек. Одет в мягкую черную шляпу, выдавшую кое-что на своею веку, на шее какое-то розовое паскудство — вообще странно. Только пальто замечательное, такое автомобильное. А вид у него самого самый замызганный.

«Пальто исчезло. Оно, оказывается, принадлежало товарищу министра каких-то там дел, а гость попал сперва в облизвательную обработку. Но добродушие министров — вещь, которой не шутят. Занимательный новичек. Смуглое лицо, чуть что не черное, глаза такие остановленные. Диковинная личность будто сбежавшая из старинных №№ «Punch'a».

«Вчера мы с ним разговорились в саду. Должен признаться, я прощался с ним с самым странным чувством:

чуть-чуть и я решил бы, что он гений, хоть мне и хотелось иногда во время разговора закричать «караул». Его зовут Филипп Магнелиан.

«Отель над ним хохочет. Он сказал нашему патрону, что для жилья ему надо ровно столько места, сколько требуется, чтобы поставить палку. Один из наших веселых чичероне на это сказал: «Я всегда подозревал, что у него есть хвост, но не думал только; что он у него синий....» — намек на попугая на жердочке. Седой новый анекдот, он не ест яиц, — по этому поводу публика боится за свои бритвы и чернильницы, ибо таковые, как не содержащие яиц, могут легко стать добычей его прожорливости.

«Сегодня мы говорили с ним. Опять я испытал самые странные чувства: кажется, что он все знает и ничего не понимает, а то и, наоборот: все понимает и ничего не знает. Под конец я спросил его: «Ну, скажите, наконец, — какая же последняя истина человеческого общежития?» Он блеснул глазами и, разгорячась, неожиданно, ответил: «Я не знаю, слышали ли вы еще о предпоследней...». Тут мне показалось, что мы с ним оба с ума сошли. Я хотел что-то еще его спросить, но, смотрю, он исчез и передо мной только шляпа черная, выдавшая виды, и походная чернильница. Я начал вертеться, удивляясь, куда б это его могло так скоро унести, обертываюсь, он уже опять против меня и говорит: «Азот есть единственное основание счастья, — но он дуалистичен, вот в чем загадка...». И с этими словами вновь пропал, на сей раз уже более прочно.

«Вчера мы проговорили всю ночь. Поистине это гений. Пускай чудит, как хочет.

«Он исчез вовсе. В отеле по этому поводу рассказывают Бог знает что. Приехал некто, видимо, его одноплемянник. Они столкнулись в коридоре около вестибюля. Говорили на незнакомом языке и очень тихо. Новый наступал, а Магнелиан двигался назад, к вестибюлю, все понижая голос. Наконец, уже в вестибюле новый энергично отпрянул от Магнелиана и сказал на скверном английском языке довольно громко: «Бросьте эти разговоры, вы — Филь Магнус и нечего тут....», или что-то в этом роде. На это Магнелиан

схватил его за лацкан сюртука и начал что-то горячо шептать на ухо. Тогда тот высвободился и будто бы ловко вдавил беднягу в зубы. Дальше рассказ превращается уж совсем в фантастику. Магнелиан будто бы взвизгнул, выплюнул два зуба («большие такие, сросшиеся, как у акулы», объяснял мне один досужий человек), вспрыгнул, как ученый леопард, с места на полку вешалки, пробежал по ней, адским прыжком достиг до люстры, все не переставая тоненько и жалостно визжать, влез в плафонный фонарь и там исчез бесследно. Его нет уже три дня.

«Новый, победитель Магнелиана, на все вопросы о его жертве отвечает сердитым покачиванием головы; и злобным «Бррр!». Вчера вечером на наши вопросы он сказал, что мы еще того увидим не раз.

«По рассказам прислуги, Магнелиан уже появился. Вчера он был усмотрен на окне второго этажа, откуда деловито присматривался вниз, спустив ногу, норовя прыгнуть. Опыт был совершен и удался блестяще: пара рододендронов исчезла с клумбы. А он, постояв и увидев, что окрестность безмолвствует, прополз под кустами, где и окопался. Всю эту чепуху я пишу с чужих слов, мне ее самому до смерти стыдно записывать. Никак не пойму в чем тут дело. Я понимаю, что дети любят производить такие звероподобные кунштштюки, воображая себя, например, рысью или на худой конец (это уже прогресс) краснокожим. Так они окружают себя мнимыми опасностями и на некоторое время покидают будничный мир, но ведь то дети.

«Отельцы уверяют, что вчера его нашел наш казачок в беседке в саду, висящего на ремне вниз головой и ногами и медленно повертывавшегося, как паук на паутинке.

«Сегодня вечером я прилег соснуть и проснулся от страшного грохота в комнате. Моим глазам представилось следующее незабвенное зрелище: — вбок летел маленький жирандоль из угла, сокрушая все на своем пути; засим тяжелые драпри, разметав свои края, начали биться, будто бы в них попала муха с сен-бернара величиной, и в скорости низверглись вниз вместе с багетом, кольцами и всей арматурой. Очевидно, что вся эта туча не могла себе отказать в

удовольствии упасть прямо на мой письменный стол, который, видимо, исключительно от ужаса, тоже перевернулся, лампа упала, потухла и засим все немедленно смолкло. Когда я вскочил и зажег люстру, то увидал, что на развалинах моего благополучия, сидит совершенно спокойно Магнелпан и ест мой шоколад, выпавший из стола. Должен сказать, что у меня в этот миг явилось сильное желание очистить ему всю остальную верхнюю челюсть, но он, не говоря ни слова о происшедшем, сразу заговорил о своем и через пять минут я с восторгом и изумлением слушал этого странного человека, этого восторженного пророка новой жизни и нового человечества. Он указал мне между прочим: «Мир создан из световых монад — вот вы увидите, как их откроют лет через пять: это открытие зальет нас счастьем, — свет основа мира. Покуда же мы бьемся среди энергетических представлений, мы не выползем из нашего ада. Масса должна быть повержена». Признаться, я даже и не понял. Но в душе — полная вера и готовность слушать его и идти за ним, куда он захочет и позовет.

«Приходил полицейский комиссар и справлялся о Магнелиапе. Он говорил, что сыскное бюро получает от того чуть ли не ежедневно длинные прошения с просьбой оградить его от отравления... В чем дело — неизвестно. Кто его отравляет, тоже никто не знает. Полицейский говорил о каком-то восточном яде. Но, возможно, что это недалеко от истины.

«Магнус появился вчера днем без меня. Дело будто бы было так: он прошел в столовую, вынул из буфета полкило масла и кушая оное, направился в гости к одному из самых веселых своих описателей. Но войти в комнату не решился, ибо, — как говорит тот, — в комнате на столе лежала яичная скорлупа.... Тогда он направился к соседу, вдруг оттуда выскочил с диким криком и побежал по корридору, останавливаясь у стены, чтобы облегчить свою душу: — проще говоря, его рвало самым ужасным образом. Вслед затем он куда то сунулся (под ковер, говорят они) и исчез. Обсуждение происшествия привело к решению, что кроме чужого масла он поглотил и еще что нибудь, руководясь

своим принципом, что все, несодержащее яйца — съедобно. По мнению отельцев он выкушал две баночки гуталина, каковой и произвел описанный эффект. Ужас какая чепуха, — мне его жалко и я ничего не понимаю.

«Вчера ночью он пришел ко мне, неведомо как пробравшись через запертую дверь (правда, теперь замок дверной очень плохо запирается, а отпереть его можно чем угодно вплоть до микроскопа). Он сказал, что будет теперь жить, здесь, т. к. он должен скрываться. Нашел место, по правде сказать! Мы говорили до свету.

«Отельцам он очень надоел и они решили его направить к Галату. Его посадили в вагон с сановными турками, все было очень хорошо, но через шесть часов он оказался вновь в отеле, по словам нашего швейцара, убежав из вагона через отдушник.... Он говорит, что с этими азиатами, вооруженными с головы до ног, он не мог ехать, хотя эти маслиноглазые дипломаты вряд ли имели какое оружие, кроме своих ужасных носов.

«Боже мой, он скончался вчера в шесть часов вечера! Меня позвали в гостиную, я прибежал и увидел его лежащего на ковре около дивана. Масса народа окружала его с самыми недоуменными лицами. Он лежал спокойно, без сознания. Я побежал звонить по телефону за доктором, возился с этим с полчаса и, когда вернулся, он был уже мертв. Я был вне себя, — ясно, что он отравлен. Покуда я бегал за доктором, полицией — тело убрали.

«Неделя прошла с его смерти. Но я до сих пор подумывать об этом кошмаре не могу. И какое гнусное попустительство со стороны правительства.

«Сегодня вечером один из отельцев говорит мне: «Завтра едет в Каир наша миссия и с ней доктор философии Ф. Магнелиан»... — «Помилуйте, сказал я, да ведь он умер!» Тот старательно затушил об пепельницу папиросу и сказал: «Это ничего не значит.... что вы, такому человеку!» — засмеялся и ушел. Очень буду рад, если, так сказать, слухи о его смерти окажутся преувеличенными, но ничего не понимаю.

«Миссия каирская уехала и с ней Магнус.

«Опять приходил полицейский комиссар и смеху для всем афишировал письмо Магнуса. Я списал оттуда следующее: «вскрытые мною принципы природы и человечества могут и должны казаться обычному уму божественными, я этому не удивляюсь и не пробую спорить с этим. Далее несовершенство мыслящего аппарата переносит содеянное на содеявшего и собственная моя личность становится в глазах этих людей, делающихся моими врагами, — божественной. Это обстоятельство толкает их на безумное обожание моего Я, на преклонение, которого не знал ни Наполеон, ни Александр — и оно же увеличивает до крайности число моих врагов. Эти враги постоянно подмешивают в мое кушанье под видом яиц, белковых или желтково-лецитиновых глицератов токсические смеси мускаринового типа. Тщательный анализ показал мне их, я принял меры, изобрел статочные противоядия и ныне могу поглощать мускариновые лактикаты ежедневно по 10 грамм без всякого вреда для себя. Но они открыли это и в настоящее время переходят к новым ядам. И я несомненно буду отправлен».... Хохот был ужасный. Каламбурам нет числа. Поистине это на грани здравого смысла — но разве войны и казни не на той же грани?!

«Утром я нашел у себя под подушкой тетрадь сочинений Магнуса. Если бы я мог рассказать, что это такое, — смешно и говорить о величии Бонапарта перед этим дивным умом.... Сейчас ко мне прибежал один из наших отельцев и с хохотом уверял, что он видел Магнуса, сидевшего в позе мартышки на желобе кегельбана, у нас в подвале. Я сорвался и побежал туда. Но пока я блуждал по этому подземелью, Магнус исчез.

«Прислуга, к которой я обратился, уверяет меня, что Магнус тут и исправно съедает свой обед. «Где же он живет?» — спросил я. Горничная взглянула на меня с презрением и ответила уклончиво: «Вам, небось, лучше знать». Так я ничего и не добился.

«Утром в саду я обнаружил на столе Магнусову шляпу и чернильницу. Сердце мое задрожало, я бросился его искать и нашел распластавшимся и прилипшим к стене искус-

ственного грота. Когда я нашел его, он сделал мне знак молчания, вскочил и через миг — я нигде уже не мог найти его.

«Послезавтра я должен уехать. Грустно будет покинуть Софию, не повидавшись еще с Магнусом.

«После обеда ужасный фарсоподобный скандал. Уборная второго этажа оказалась запертой в течении двух часов. Около собралось человек десять, — мой сосед, пугавший Филя Магнуса яичной скорлупой, пришел махнул рукой и объявил, что там скрывается Магнус. Раздался хохот, но кое-кто уже сердился не на шутку. Вдруг, там что-то довольно громко щелкнуло, блеснуло и немедленно кругом погасло электричество, а затем с грохотом вылетели на нас стекла из окна над дверью уборной. Все с проклятиями начали чиркать спичками, дернули дверь — она была отперта. Я повернулся, пошел и у себя в комнате нашел.... Магнуса. В это время вошел ко мне мой сосед и попыхивая трубкой, сказал Магнусу: «Да вы ученый мужчина, — вы сожгли нам пробки на половину здания». Магнус нахмурился и продолжал говорить со мной. Тот сказал еще что то, а Магнус ответил: «Если бы это было так, как вы говорите, — а ведь это вы говорите — то я бы знал это, но даже, если бы я знал, то и тогда мне не хотелось бы об этом говорить». Тот фыркнул и ушел. — Мы проговорили до света. Завтра утром я еду. Мы еще увидимся с ним».



ХП

Газеленок глодал корни морены, а она сказала ему: «Ешь меня сегодня и насыщайся, а завтра будут дубить кожу твою в моих корнях».

(Мудрость Хикара)

По вопросу о том как началось то, что заранее было окрещено нашими друзьями «*восстанием мизантропов*», существует целая литература. Правда, она мало читаема, но это уж не ее вина. Известно ведь, что если публика не читает книгу — то не книга виновата в этом. Но, одним словом, суммируя все мемуары и доклады и отметая в сторону все украшения чисто-авторского и теоретико-подкрашительного характера, можно сказать: дело началось свалкой перед бродячим цирком. Из-за чего произошла свалка, толком неизвестно. Левые уверяют, что она не могла не произойти, как это ясно из последующего ей.... да не усомнится читатель в этой странной аргументации, вывернутого силлогизма, так оно и было на самом деле. Консерваторы же уверяли, что буяны были подкуплены и все поголовно пьяны. Это обычный тип суждений: для объяснения приятных вещей вытаскивается на свет божий вся Зигвартова бутафория, неприятности объясняются простым и немногосмыслительным образом. Так поддерживается постулат: — все к лучшему в этом лучшем из миров: все приятное входит в систему, все выходящее из нее — пустяки, не стоящие воображения.

Но как бы там ни было, существует квадратическое отклонение и с оным «воленс-неволенс», как говаривал один из теоретиков вот этой же миленькой системы, приходится считаться. Расположение фактических отступлений от средних не изучается, однако оно систематично, его предпола-

гаемая синусоидальность опытом оправдывается и удовлетворяет запросам практики. Ряд социологического существования описываемого местечка коррелировал с настроением и нормами поведения вышеуказанных — то ли пьяных банд, то ли людей, не ведающих, что творят, но глубоко чувствующих, что дальнейшее оправдывает их поведение на протяжении времени, пока можно унести ноги. Квадратическое отклонение норм поведения было основательно, средней арифметической, были дохлые песнюшки под вечер, максимум отрицательный — почти безболезненное для объекта ощупывание молочных желез женского населения, максимум положительный — свальное закапывание еще живого конокрада в землю. За предыдущее описываемому время отступления положительного характера почти отсутствовали, если не считать двух-трех параметритов, нажитых не молодыми женщинами, вследствие нанесения ударов тупым оружием в низ живота, — кривая скучала и ей необходимо было дать сильный и явственный бросок в положительную сторону. Он и начался упомянутым серьезным разговором перед цирком.

За какиенибудь пятнадцать минут балаган был разнесен до основания, медведь, кормивший бродячих голодранцев, утоплен в близлежащем пруду, хозяин его, желавший только умереть вместе со зверем, избит до потери сознания, а полицейский, полагавший, что все могло бы идти более организованным образом, по примеру дедов, — усажен на кол. Правда, секрет операции был потерян, и кол разорвал представителю власти всего лишь ягодицу в ключья, но все же, все было достаточно импозантно. Совершив этот ряд и заполнив таким образом положительное отступление, кривая вспомнила, что у нее имеется про запас еще периодец более крупного характера, который тоже недурно, было бы немедленно восполнить.

Заполнение началось не без личной помощи Высокого: под его предводительством была сожжена пожарная каланча, а реквизит огнененавистников отправился развлекать медвежью тушу. Длинный поступил тоньше: группа, выведенная им из общей массы любопытных и подхватыва-

вавших могущие сказаться полезными в домашнем хозяйстве предметы, была настроена более угрюмым образом. Они бросились на аптеку, откуда и были извлечены все зажига-тельные вещества, каковые были прикачены к арсеналу, часть которого к тому времени была уже разбита, что и наполнило пустынный воздух едкой и аритмичной пальбой. Тут Четырехпроцентный докатил ненависть мизантропов до пороховых погребов, где и были в некотором порядке уложены выбранные из аптеки приятные вещества.

— В центр, братья! — воскликнули тогда Четырехпроцентный и Длинный, — здесь больше делать нечего. — Но всю толпу увести не удалось. Через шесть с четвертью минут, над окрайной вознеслось черно-дымное кольцо, земля заколебалась, стекла полетели, понятно стало, что дело перешло за границы переживаемого, засим пламенный дым унесся выше кольца и тяжелый грохот вывернул мир на изнанку. Над окрайной запело зарево. Дюжины три домишек стало щепой с первого удара. Стале-литой ветер, разинув пасть, пронесся по городу, трепеща от ярости: он рвал барабанные перепонки, перепрыгивая через крыши, делал аборт женщины, выдавливал грациозным и бешеным нажимом стеклянку, вил в трубочку листовое железо. Пустяки, ветер! Всех погребов было десять. Празднество, начавшись в восемь часов вечера, стало смолкать лишь на другой день к шести вечера. Четверть города была съедена детонацией, две четверти изъедены, оставшееся покусано — и как следует покусано. Это сопровождалось убийствами. Так, как еще старая фернейская обезьяна писала об этих: «главное безумие их состояло в желании проливать кровь своих братьев и опустошать плодородные равнины, чтобы царствовать над кладбищами».



ХІІІ

Наши философы воткнули ему большое
дерево в то место, которое д-р Свифт,
конечно назвал бы, но я не назову из
уважения к дамам.

(Микромегас)

• • • • •
• • • • •



XIV

Привели волка в школу, чтобы он
научился читать и сказали ему:
«Говори — А, Б». Он сказал:
«ягненок и козленок у меня в
животе».

(Хикар)

• • • • •
• • • • •



XV

Была некогда расставлена сеть на мусорной куче. И вот один воробей нашел эту расставленную сеть и сказал ей: «что ты здесь делаешь?». Сеть сказала: «я молюсь Богу».

(Хикар)

Две предыдущие главы хороши главным образом тем, что никак не утомят читателя, доползшего до них. Это их главное достоинство. Автор понимает это. Кроме того обе они освящены авторитетами и нимало не запятнаны личными опытами автора. Шутнику остается только сказать своей даме, что это самые интересные главы в повести и что жаль, что таких глав только две, — но, так как такие-то главы он и сам может сочинять в любом количестве, то и предоставим ему это приятное занятие.

Мы обращаемся к серьезным людям. Мы, правда, не осмелились сказать этого ранее пятнадцатой главы, но такая точка зрения, укоренившаяся на творчество автора в его любезном отечестве (правда, до отечества еще далеконочко: более 149 миллионов с большим лишком его соотечественников никогда ничего не слыхали о его жалкой персоне: слышали о нем, ну разве что тысячи полторы человек, из коих четверть — это самый окаянный сброд, листающий все, потому что сам пыжится тоже что то писюкать).... Да, так об отечестве: автор представлен, как некий зловредный, но симпатичный, пока не задевает меня, весельчак. Автор не возражает: порядок, вещь необходимая, как сказал пассажир, обнаружив пропажу и второго чемодана. — Ярлычек сей он принимает в порядке — порядка. Меньше бы он хотел он быть напыщенной свиньей, поучающей подруг по корыту манерам Вест-Энда, о которых слышала она

от собственного сала. Но сало требует сообразной экипировки. — И только сало, — а блестящие дела сала начали закатываться еще с конца 1913. Автор же не имел до сей поры удовольствия носить в собственной персоне это очаровательное вещество — потому то его меньше всего и влекла к себе апология этого свиного сала. Трепеща от ужаса, автор рассматривал «мирсконца крученых хлебников», ибо его вывод был: «сала не требуется», а кругом торговались о сале, диспутировали о сале, женились на сале, любили сало, вкушали сало, молились салу, философствовали о сале, стихописали по салу, абстрагировали сало, принимали его прагматически или гносеологически, отвергали его мистически с великим, зарнице-подобным переподмигиванием и тотчас же, отвергши, успокоению погружались в оное. Волны сала утопили мир явлений, — и мир явлений базировался на том, что его съело, — тогда сало-мысль стала единственной достоверностью, а растрепанный сельский учитель в ободранном пиджачке с мочальными волосенками декламировал свою «помаду» и говорил: — «Сала больше не потребуется». А сало ехало, охало, ухало — наседало, потопляло, покачиваясь, застаиваясь, заполняло мир. И раз вечером, осенью тринадцатого года трое мы (А., Б. и П.) намекнули всем знакомым: «Сало кончается». Оно обиделось, оно плюнуло нам в глаза: «сволочь некультурная — ф у т у р и с т ы». Тогда было понято раз и навсегда, что сало с нами не помирится, что мы прокляты им за предсказание конца сало-царства. А за фразы: «вытащите человека из сала» — «сейчас будут вас вытаскивать из сала» — нам были обещаны все мучения, хоть мы и знали, что наши мучения не смогут превзойти того, чего придется понюхать им. Сало же колыхалось в своем могуществе. И тогда оно затеяло себе на горе пересолить весь мир аттической солью, — его уже обучили: свинья грассировала, свинья прижимала руки к сердцу, она выговаривала «мадам ля контесс, се муа», она душилась гвоздями Лоригана и сказала своей контессе: «мадам, же дуа конкерир ту ля монд — э ле метр а во пье». Контесса выпятила глаза, старая сволочь понимала, что все эти слова гроша в базарный день не стоят, а те-

перь.... Контеска начала было ласкать «дорогого котика-свинку» за ушами и уверять его, что она-дескать и так на все готова, что вот де к свинкиным услугам все: и ручка свинкина, и ножка свинкина, и губки свинкины и все остальное, что и более перечисленного в цене — почему в цене контеска ей-ей не знала, но продешевливать не собиралась — все и это свинкино. Но свинке контескины прелести давно уже надоели, свинка так много себе пела о своем космическом значении, что меньше чем на мировом масштабе она остановиться не могла. Контеска даже всплакнула. А свинка заработала: копытом провела она линию от Балтийского моря к Черному, от Немецкого к Средиземному, и много других и на этих линиях убивала людей. Свинка раскрыла рот, взяла в копытце патентованный штопор и, так вооружившись, пошла на мир. Гигант на миг сощурил свой солнечный глаз и протянул руку. И там, куда легла тень от его руки, люди начали есть сало идохнуть от этого. Он потряс плечами и свита была ео *ipso* ликвидирована — остальное он предоставил нам, муравьям. И автор от нежности взбешенный с куском сала в зубах бегал и кричал (кликуша, мерзавец! — ласково отзывались о нем контескины приятели), «вот кусок сала, почему у меня никто его не отнимает?» И оплевывая контеску и ее гнусных бранлеров, мы полезли на сало. Оно оседало.

Теперь же я обращаюсь к серьезным людям. Их очередь. Мы ничего не знаем о вечности, мы не без ловкости расплевались с синими далями и прочей снастью и проч., наше существование постулируется положительными и отрицательными отступлениями от искомого плавного уровня некоей кривой. Мы не виноваты, что думаем, что он плавный.

Нам всунул это в голову Лейбниц и в сем «чудовище идеального мира» мы живем. Некоторые думают, что это и есть причина нашего несчастья, — не в этом дело. Завтра новый урод-математик, (чудак, о котором говорил Вольтер, что эта раса людей настолько неразборчива, что может любить даже лапландских девиц), вытащит, наконец, нам аналитическое выражение ломаной, — но дело не из-

зменится. Так вот, каждого из этих отступлений хватит за глаза на жизнь не одного поколения. Наши тела обратятся в землю, а космос не будет разрушен. Человечество будет всемерно удивлять и удивлять личность. И серьезные люди это понимают. К ним-то я и обращаюсь. Им понятно содержание ужасных глав, которые я пропустил из сострадания к читателю.

Не забывши ни о чем слышанном, вспомните и узнайте: за все время с начала тринадцатой главы по конец четырнадцатой протекает восемь лет.

Четырехпроцентный, странно осунувшийся, вышел из громадной запачканной комнаты, где длилось и длилось заседание правления Взрофа. В голове у него горело и шумело: заседание было международное и междуведомственное и еще какое-то между... оно продолжалось без остановки тридцать семь часов. Никто не осмеливался возражать председателям Магнусу и Квартусу (так теперь звали Четырехпроцентного), но какие-то люди разворачивали диаграммы, планы, таблицы, и книги, книги...

— Вывод, вывод!.. — досадливо отмахивался Четырехпроцентный от груд материала.

— А вот-с, будьте добры, — говорили ему подобострастно и указывали на хвост кривой, стремительно несшийся вниз.

— А это что? — говорил он с сомнением, видя рвущуюся ввысь по параболе третьего порядка кривую.

— Смертность от...., конечно, это все же пустяки, она, знаете, должна упасть...

— Где же это она падает? — вопрошал Четырехпроцентный грубо.

— Надо надеяться, имеются некоторые основания...

Но уже лез другой с такими же горами.

Тут же выступал дурак. Дурак с апломбом, и Четырехпроцентный, сквозь муть дикой усталости, вспоминал давний разговор на лужайке, — говорил: «все чепуха, ежели мы решили, все должно идти так, а не как-либо иначе, — смерть тем, кто....» Магнус устало поворачивал к нему оштановленные глаза и писал на бумажке: «идиот, идиот,

идиот....».

На исходе семнадцатого часа заседания секретарь почтительно наклонился к Магнусу и сказал: «Из Техасской обсерватории», и глянул на властелина вопросительно. Магнус еле кивнул головой и шепнул Четырехпроцентному. Тот встал и объявил перерыв. Через двенадцать минут на кафедре стоял седобородый старец во фраке и говорил глухим грудным голосом:

— Таково мнение Центрального совета интерпланетных сношений. Есть основание думать, что ряд наших знаков был понят на Марсе превратно, есть основание полагать, что это произошло неслучайно: разновременность и протекающая отсюда разница в логиках.... («в логиках» — записал лениво на бумажке Магнус, играя карандашиком) не дает возможности установить единство знаков...

Профессор передохнул и оглянулся. Громадный зал был набит народом. Человек сто слушало его, кто с улыбочкой, кто просто внимательно, кто рассматривая его, — остальные были заняты своим делом. Профессор глянул в президиум за сочувствием. Квартус мотнул ему головой, он продолжал:

— Ряд опытов, направленных к уразумению этого явления и специальная смешанная комиссия астрономов, физиков и философов, заключавшая в себе лучшие силы мира составила план изучения явления. Все мастерские мира, несмотря на ужасные условия, работали, не покладая рук, над изготовлением приборов, по изучению жизни планеты. Я попрошу позволения у собрания продемонстрировать...

К профессору подбежали несколько молодых людей, он кивнул тому и другому, и молодые люди, горя удовольствием, робея, разбежались. Сзади сняли коленкор, с какого-то заранее приготовленного громадного аппарата. Его медные трубы, круги с делениями, красное дерево и лесенки привлекли общее внимание. Шесть квадратных метров, которые он занимал на полу, обеспечивали ему всеобщее уважение. С визгом поехали по окнам занавески и в душном зале стало темно. На противоположном конце зала над го-

ловами председателей блеснул свет, выброшенный медной трубой аппарата на громадный экран. Свет выходил из трубы странной траекторией и будто брызгами падал на экран, неожиданно свет потух, а экран начал накаляться красным калением.

— Что это у вас там? — досадливо сказал профессор.

Молодые люди и механики завозились у аппарата, слышалось ровное сопение аппарата и экран начал покрываться мелкой сетью, звездящихся голубых точек.

— Когда глаза привыкнут, — сказал профессор, — все станет ясно. Наш демонстратор соединен по радио с Техаской обсерваторией, где сейчас производятся наблюдения, — они отразятся на экране. Техас будет говорить и давать простейшие объяснения.

В аппарате что-то загудело и сдавленный голос сказал: «так называемый промышленный участок планеты».

На экране миллионы точек, наконец, соединились в плавный рисунок, который казался колоссальным окном вдаль. Аппарат шипел. На экране была громадная дорога. Неожиданно она прервалась трещиной, которая все увеличивалась и на глаз достигла километров десяти. Края горизонта дымились. Неведомые инструменты шли вкось через дорогу, проникали друг в друга, выходили из этих беззвучных свалок видоизмененными, возникали, исчезали. Как цветы под рукой фокусника выросли из земли башни, отрывались от корня и улетали ввысь, лопаясь наверху, вдруг дорога собралась змеей вместе с трещиной и стала посреди пейзажа, вертикально направляясь в небо. Из одной башни фонтаном забила пенящаяся жидкость и стала подыматься вверх по вставшей ввысь дороге....

«Так называемая плирома», — сказал аппарат.

Поле зрения начало отодвигаться влево и обнаружились странная гора, вся двигавшаяся. Улиткообразные существа карабкались, сходились, вползали друг в друга, по ним, чрез них, в них колотились еще какие-то сооружения, шары, эллипсоиды, пирамиды, мелькал свет, происходили какие-то взрывы: и все кипело, кишело.....

В зале кто-то крикнул, на него зашикали. Магнус шепнул секретарю и тот побежал к профессору. Профессор наклонился к нему и закивал утвердительно головой. «Так называемые новые фьорды...» — сказал аппарат.

Постепенно в правом нижнем углу экрана начало образовываться мутное пятно, расплзавшееся неправильными зигзагами по световому полю. Оно темнело и темнело, — центр его (с пол-метра квадратных на глаз) стал вовсе черным, тьма эта, густая, заливала экран — наконец только левый верхний угол остался светлым и на нем вертелись странные тени старших братьев человека. Тут со свирепой неожиданностью (казалось, что будто с грохотом) центр экрана мелькнул светлыми волнистыми жилами чего то, схожего с молнией, это белое, шароподобное, вертелось теперь в центре поля, разрываясь и спадаясь снова, изумляя быстротой метаморфоз) — далее ком белизны как будто бы удалился, передний план оказался занятым волнующейся поверхностью зыби. Вновь молнийный шар двинулся на зрителей, рос, рос (и невольно зрители откидывались к спинкам стульев) занял весь экран, ослепляя глаза дюжиной своих палящих центров. Затем экран перерезался очень правильными черными кривыми, которые через секунду симметрично заиграли, как в калейдоскопе..... Но никто уже не смотрел на экран, среди женщин раздался плач и многие стали, торопясь, выходить. Вышедши, бледные, они переглядывались. «Ну и чертовщина!...» сказал некто. Это был общий приговор. Аппарат замолк, дали свет.

Профессор заговорил:

— Эти картины мы наблюдаем уже давно. Нас они не пугают, мы к ним привыкли. Но неприятная суть дела в том, что для нас они — алогичны. Всемирная комиссия философов высказалась в этом же смысле. Есть много точек зрения, одни объясняют алогизм этот так, другие иначе, но дело не в объяснениях, а в том, что фактически мы ничего в этом все же понять не можем. Возможно, что это следствие нашего мироощущения, так толкует это немецкая часть комиссии, возможно, что содержанием этих картин являются внеопытные явления, т.-е. что когда мы там

видим шар, это не шар, а только привычка видеть в таком-то предмете шар, заставляет нас по случайному признаку определять его себе шаром, такова точка зрения англичан, не мыслимо наконец, и то, что предполагают наши друзья славянского происхождения: определенно развитая интуиция путает наши имажинации с сырым материалом чужого мира, наконец, вполне возможно объяснение группы американцев, которые не без основания полагают, что разница природ и времен не может быть принята, как поправка, ибо она неизвестна, а без этой поправки мы получаем абсурд. Но как бы там ни было: — для нас это непостижимо. В более узком кружке можно было бы дать более обоснованные указания... — и он сошел с кафедры.

Филь Магнус встал и глаза всего зала впились в него. Он кинул вверх тонкую смуглую руку и заговорил:

— Мы в продолжении восьми лет сражаемся с миром. Вселенная будет завоевана, какими бы страстями она нас не подчивала!.. — кругом раздался рев и громотреск аплодисментов. Магнус переждал и продолжал. Зал ревел от восторга. Ошеломленные зрители Марса увидели испугавшегося человека и умиление и благодарность их не имели границ. Магнус должен был остановиться.

— Да здравствует Филь Магнус!.. Магнус! Магнус! — ревел зал.

Магнус терпеливо ждал. Он знал, что он им может приказывать всем повеситься и никто не замедлит исполнить приказание.

Какая-то девочка лет пятнадцати со слезами на глазах вскарабкалась на эстраду и стояла, плача на коленях у его ног. Магнус глянул на нее и хотел говорить. Но энтузиазм толпы дошел до апогея. Квартус встал, они стояли оба — владыки мира, два тоненьких бледных человека в визитках, и ждали покуда это кончится. Часть публики рыдала навзрыд. Тогда Квартус взял рупор и крикнул: «перерыв!».

Через час собрание возобновилось. На улице прошла гроза, зал проветрился, кое кого развезли по приемным покоем и стало легче.

— Я прошу внимания, а не знаков одобрения, — сказал твердо Магнус, — нам сейчас не до глупостей, кто этого не понимает — идиот и горе ему, — зал затих.

Магнус продолжал, мрачно осматривая лепные украшения потолка.

— Вы все знаете и видите положение Земли. Оно ужасно и беспримерно. Наши сигналы не восприняты Марсом. Та же участь постигла сигналы на Венеру, Юпитер и Сатурн. Но на них мы не надеялись. Все надежды наши связаны с Марсом. Поэтому помощь с Марса вероятно запоздает. Не надо думать, что сегодняшняя демонстрация афишировала нашу беспомощность, нет. Она говорит, что задача еще не разрешена, но она будет разрешена. Доклад, представленный нам Техасской обсерваторией ясно говорит, что есть основания, полагать, что наши наблюдения могут быть расчленены (тут он увидел искаженное удивлением лицо профессора, глядящее на него, но спокойно отвел глаза, а профессор вздохнул и — тоже успокоился) — и тогда не будет места алогизму. Помощь с Марса придет рано или поздно. Надо, лишь ее дожждаться. И мы дождемся. Но теперь нельзя сидеть, сложа руки. Поэтому мы производим новый и совершенно блестящий порыв: — я объявляю вам, что Взроф ликвидирует часть своих функций. Золотое обращение восстанавливается. Это не уступка, а логический вывод из предыдущего.

Он замолчал, а зал молчал, словно там не было ни души.

— И на вопрос, что же вы делаете? — мы ответим: мы п р о д о л ж а е м. Кто не хочет этого понять — враг нам и человечеству. С ним должно поступить соответственно.

Четырехпроцентный вспоминал речь Магнуса и еще многое из этого собрания, в голове у него шумело, он устал выше всяких сил. Он вышел вместе с Магнусом. Кабриолет принял их, и они понеслись среди опустошенных войнами полей и пожарищ.

Эти два человека выскочили, как разъяренные лисята с визгом, норовя вцепиться миру в ляжку — он позволил им это сделать. Но с ними случилось дальше нечто странное:

лисенок увидал, что он победил медведя и лисенку пришлось приподнимать грузное тело на ноги и учить его вновь ходить. Лисенок вспомнил все свои хитрости и тонкости, — но они не годились для этой массы мяса. Лисенок ныне, задыхаясь, полз под тяжестью своей колоссальной жертвы, тщетно стараясь разбудить ее к жизни. Тогда лисенок придумал новую и ужасную по тем результатам, которые он ожидал от этой меры, хитрость: он решил воссоздать вокруг медведя его старую обстановку и посмотреть, что из этого выйдет. Но медведь упирался: в ужасе чуял он старые опасности, от которых давно отвык и боялся потерять эту жизнь, которая позволяла жить, закрыв глаза на будущее и предполагать, что все благополучно, поскольку истреблены те, кто были, по уверению его победителя его главными врагами, — кто они были, он не интересовался, он только знал, что они подлежат истреблению. Но лисенок хитрой рукой (т.-е. лапой, хотел написать автор) тащил его да тащил — и он влекся.

— Вы философ, — прервал мысли Магнус к Квартусу, — я нет. Поэтому, мое суждение о виденном, — ну мы это им пустяки же показали, я об массе всего явления говорю.... да.... так вот, потому то я и не могу все это абсорбировать так, как хотел бы. Вы, полагаю — можете. А?

Квартус промолчал. Тот:

— Я несколько старообразен в этом, — вы же мне не раз это и говорили....

Квартус мотнул головой.

— И вот.... Ощущение оказывается недостоверным, так?

Квартус вновь кивнул.

— К этому пока еще не привык. У нас была теория иллюзий — так что это: психозаболевание миллионов или что?!

Квартус посмотрел на него и ответил:

— Мы говорили много раз. Всегда одно и то же. Мир есть мир. Вот и все, что мы знаем. И жизнь это такая же каша, как то, чем их всех до истерики напугал наш Техасский друг. Вот и все.

Они остановились. Вошли в комнаты. В их кабинете — громадной сводчатой с претензиями комнате было тихо. Секретари привскочили, один подбежал к Филью и сказал: «проект.... вы помните, я вам говорил.... об использовании энергии вращения земли вокруг собственной оси». Филь глянул на него и в глазах его прочел, что он, Филь, малое дитя, и без своего секретаря шагу ступить не может.

— Помню, — сказал Филь, — ведь я же сказал : передать Плантагенету в Техас.

Секретарь досадливо глянул:

— Уже с заключением.

— А! — сказал Магнус, — это другое дело.

Он подозвал Квартуса. Вместе они пробежали длинное заключение Техасской обсерватории: обсерватория не возражала против проекта, она считала его полезным, но тут же приводила цифры, чего могло бы стоить осуществление проекта и что бы могло принести это осуществление. Разница получалась мрачная, доходы относились к затратам, как 1 к десяти тысячам. «Однако, — говорила обсерватория, — за два столетия примерно это оправдалось бы».

— Ну как, — сказал Магнус, — отклонить, принять, два столетия!

— Посмотрим, — сказал Квартус, — успеется. И уложил в портфель громадную тетрадь. — Идем....

Они ушли во внутренние комнаты, предоставив секретарям перемигиваться и заочно их похлопывать по плечу. Их встретили слуги и собаки. — Никого, ни в каком случае, — сказал Квартус. — У нас совещание — понял?

Двери были заперты. Они легли и уснули.



XVI

Le grand redoute a été tenace,
nom d'une pipe.

(Толстой)

Квартус скучливо глянул на серое громадное тело дирижабля, висевшее над ним, на вытянутых офицеров экипажа и ушел в каюту. Магнус лежал на диванчике и дремал. Квартус уселся, глянул в пустое окно, куда бил солнечный свет и доносился слабый гомон винтов и покрикивание. Он был в самом адском настроении. Они плыли собственноручно неизвестно зачем. Он любил ездить, любил чувствовать себя вне пространства, но здесь на борту воздушного корабля, это чувство не существовало. На корме сидел в каютке чистенький человечек, слушал длинный красный рупор из папье-маше и через двадцать-тридцать минут Квартусу тащили радиogramму. Магнус не спал четыре ночи и не мог работать. Квартус же так вьелся в это существование, что только злился от бессоницы. В дверь вошла красивая белая девушка и протянула Квартусу еще депеши. Квартус глянул на нее брюзгливо. Он объелся женщинами, их было столько — в конце концов, все было одно и то же: тот же удивленный, забывчивый шопот, те же плечи, такие же груди, которые всегда оказывались менее аппетитными, чем это полагало жадное чувство, нервный живот.... и вот это — самое то, о чем полагают и прочее: было смертельно одинаковым. Он и теперь скользнул взором по ее фигуре, по плотным тонким ножкам, по полной груди, по вкуснотише. Девушка стояла и дожидалась, вся красная от смущения, — за Квартусом бежала слава соблазнителья.

— Подождать.

Он открыл записки. Гадость, такая же гадость. Нитроеды — или эны, как их звала пресса, «наша пресса» — опять

шевелились, как продолжали шевелиться они восемь лет. Теперь какая-то жарня заводилась в Африке и с минуты на минуту могла переплыть в Азию. Они доразрушили разрушавшийся десять или двенадцать раз Суэцкий канал, и на этот раз, кажется, прочно. Эскадры побитых кораблей Взофа не могли проникнуть в Красное море и дело оборачивалось туго. Квартус глянул на депешу и вспыхнул: «А крет-тины!»... — сказал он, дергаясь левым углом рта от ярости и глядя на девушку. Та смотрела, широко раскрыв глаза, так как эта его гримаса была хорошо известна. Он толкнул Магнуса и швырнул ему телеграмму: «Вот-с, — сказал он, — мерзость, чорт знает что? Я этой дуре всуну в живот всего Уайтхеда с племянниками». Магнус поморщился: «Чорт, — сказал он, — где же эта сука раньше была? Верма туда». И написал на телеграмме и бросил ее девушке. «Сейчас отправить — и вернитесь». Бумажка завертелась в воздухе и девушка не сумела ее поймать, она упала, девушка нагнулась, а Квартус, глянув ей за корсаж, сказал тихонько: «может быть, прикажете вам помочь?» Девушка подняла бумажку и, вся горя, глянула на него: он был бледен и лицо дергалось. «Ну-ну?» — сказал он — и она выскочила из каютки. Но через каких-либо три минуты она была здесь: новые депеши. Они были еще веселее. Магнус, просмотрев, прыгнул с диванчика.

— Ттэк, — сказал он, — вот уж совсем приятно: это — не либеральничай, или как это у философов называется — истинный либертариизм?

Квартус читал через плечо. Они были оба в полувеселом бешеном состоянии, когда все-все равно, ибо от пьяной ясности — страха, радости, злобы — кусающих губы — не слышишь земли под собой.

Они оба, не сговариваясь, вскочили и бросились в каютку слухача. Там уже стоял капитан.

— Может быть, безопасней было бы вернуться? — почтительно доложил он.

— Можете ворочаться, — сказал весело Магнус — вот окно и земля к вашим услугам.

Капитан задвигался задом и исчез.

Магнус вернул его.

— Вы так и вернетесь, если через десять минут я не буду в Техасе.

— Слушаюсь, — ответил тот.

Корабль сильно накренился, винты взяли нотой выше, слышались крики и ветер засвистел в окно.

Магнус и Квартус сидели у столика и диктовали ответы.

Девушка глянула в окно. Темные сени гор, разверзаясь, неслись вырастая, снизу. Через несколько времени стали видны деревья и издалека начали поблескивать параболоидные купола Техасской обсерватории. Оттуда поднимались аэро. Они рассыпались в воздухе. Теперь корабль шел совсем низко, слышен был густой басистый шум громадных елей и пихт. Около девушки оказался Квартус; он подошел справа к ней, он заглянул в окно и увидел, что с аэро, парившего выше всех, закипел пулемет. Он достал согнутой левой рукой ее грудь и сказал ей:

«Бегите, скажите этой собаке, капитану».... и она убежала.

Аэро уходили все выше и выше, и новые вылетали из ущелий.

Корабль прошел над аэродромом, где по зеленому полю белым было выведено: «Смерть воздушным пиратам», — стал садиться, а где-то далеко раздаваясь ущельями, глухо грохая, охая и нудно воя, запели орудия.

Внизу их встречали астрономы. Но Магнус не стал говорить с ними. Он вызвал команды боевых дирижаблей, немедленно оба влезли в серое нутро самого маленького, и четыре дирижабля, один за другим выползли в воздух. Неподалеку раздался взрыв. Квартус закинул голову и увидел с верхней палубы, далеко, далеко на горизонте, розово-золотую рыбку, всю в солнце, разбойничьего корабля. Он шел так высоко, что казалось, аэро никогда на догонят его. Магнус и Квартус стояли около капитана: «Мы возьмем его сегодня во что бы то ни стало, — сказал Магнус, — этой шуточке надо положить конец». Принесли депеши и Квартус воскликнул: «Глядите, пожалуйста, — этот молодчик уже

успел в Пайсе чего-то натворить! Так дайте же туда...» и он быстро сбежал вниз по винтовой лестнице к приемнику.

Три аэро подомчались к чужому, что-то заухало, дымы взорвались и из дымов один за другим вылетели два горящие аэро. Третий завертевшись, падал кувыряясь: «дурачье!» — сказал Магнус. Капитан подошел с раскрытой депешей: «вот, — сказал он, — это очень сильный корабль, судя по этому, во-первых, он сильно бронирован...». — «А, знаем! — сказал Магнус, — бронированный, бронированный! — ну вот сегодня вы его и возьмете, этот бронированный...». Капитан что-то хотел добавить, но Филь пристально глянул на него: «А иначе я вас, дорогой, повешу вместе со всей сворой мерзавцев и изменников энов, которая именуется вашим штабом...». «Но, — сказал капитан, и губы его задрожали, — есть храбрость и..... — «Храбрость и виселица, — дополнил Магнус, — выбирайте; ну, да я не желаю с вами разговаривать!... во время боя не разговаривают: сколько лет вы учились вашему ремеслу, а?» — «Я учился всю жизнь и....» — «Вы учились всю жизнь убивать людей, и когда вам теперь велят это сделать, вы вилеете: одним словом, — еще одно слово и я вас выброшу за борт». Дирижабли пошли вверх, круто забирая, а слева из-за горизонта выплыл большой громадой боевой корабль Взрофа сразу начавший пальбу по чужому. Но чужой плыл себе и плыл, как ни в чем, в высях. И ломал, как стрючки аэро, приближавшиеся к нему. Но громада, показавшаяся слева, оказалась ему внушительной и он пошел еще вверх. «Магнус, — крикнул Квартус через люк, — мы атакуем». — «Эге» — отвечал тот, добавив: «и без разрешения генералитета, вот что гадко...».

Прошло три минуты и один из кораблей Магнуса с распоротым брюхом завертелся вниз, на их корабле, уже тащили раненых и тушили пожар. Однако и на пирате, что-то ухало и сильно дымило, — и он, заворачивая, уходил, стараясь забирать повыше. Еще один гидро, похожий на лампу Аладина, взлетел, въехал в корму пирата и сломавшись, унесся в объятия елей, а пират, начал штопать и корма его уже рычала менее энергично. На корабле была настоя-

щая суматоха, радио работал с перерывами и корабль шел несколько склонившись вбок, но все вверх, к пирату. Магнус подозвал капитана и сказал ему, положив ему на плечи руки: «капитан, вы честный вояка, — у вас настоящая воздушная кровь, я эта вижу..... Капитан стоял на вытяжку и смотрел ему в глаза. «Ведь радио, — продолжал владыка, — сейчас закончит свое существование, так?». — «Полагаю, что так», — сказал капитан. — «Хорошо, — говорил Магнус, — я знаю, вы преданы Взрофу, вы настоящий свободный, т.-е., я хочу сказать, что если бы нас с Магнусом ненароком повесили, то вы бы хотя и не протестовали против свершившегося, — это всегда одинаково глупо, но пожалели бы нас...». Капитан молчал и смотрел темными глазами в Магнуса. «Так вот с.... насколько мы можем к нему приблизиться?» — «Не ближе чем на километр», — «Мало, капитан, мало.... я не того хочу.... а если отдать ему на съедение тех трех и большого?» — «Тогда другое дело». — «Хорошо: надо подойти вплотную»... Капитан наморщил лоб: «может быть и удастся, ведь он уже без одного винта». — «Так распорядитесь. А когда подойдете, вы докажете мне, что я вам днем наговорил глупостей и что вы не-эн: вы взорветесь под его боком». — «Слушаю-с» просто ответил капитан, как будто у него просили стакан воды. «А нам с Магнусом парашюты, — ну и еще кому-нибудь.... из легко раненых».

Плантагенет-младший смотрел в трубу из обсерватории на происшествие. Ему не улыбался разгром обсерватории: новый астрограф, только что налаженный рефрактор и прочее. Он полагал, что наши прогонят эту гадость. Но в эту минуту он переменял мнение. Он увидел, как, развив черный флаг Взрофа, стремительно понесся гигант-корабль вниз, падая, и наперерез: таким образом разбойник очутился как бы между двух огней — справа и слева были наши, но слева гигант был много ниже пирата. «Отступают» прошептал ученый и руки его покрылись потом. Однако пират обеспокоился, — видимо он не ожидал этого трюка и стал осыпать снарядами подымавшийся довольно быстро к нему корабль, который так сказать повисал у него на правом борту. Пока он занимался этим делом, а гигант плевался

верхней палубой, аэро с дюжину проделали тот же маневр в глубине пространства. И пират мог рассчитывать только на броню, которая уже сдавала, и на достигнутую высоту. В это время два дирижабля обсерватории ринулись прямо на него, с них падали люди, пальба приняла характер сплошного воя, зенитная батарея внизу замолчала, аэропланишки затряслись вниз, вот второй корабль обсерватории загорелся и плавно полетел вниз, затем пламенем пыхнул гигант, шедший снизу и слева, но как-то затухнул, взрывы в скученном пространстве учащались, оттуда летели какие-то тоненькие обломки, — но свернулся и гигант, вспыхнув, как вата, — тут от маленького дирижабля отделились три точки, взвилось облако дыма, взрыв ахнул, как раскат грома и два дирижабля, свернувшись в одну пылающую кучу, помчались вниз, как разорванные миры.

Ничего не случилось, — так же, так же — небо сияло темной счастливой своей глубокой лазурью. Дым только мрачно валил из лесу, где среди плотной жирной зелени и плечистых тисов рвались и неистово горели производные азотной кислоты, честно выполняя формулу рассеянного химика, предписавшего им с коварным «ага!», сказанным тому назад несколько лет, рваться, крушить, метаться и рычать. Астроном отложил свою трубу, оглянулся на нее, вынул платок и вытер медные части, покрытые грязным потом его дрожавших рук. «Так-с, — сказал он, — прелестно.... очень хорошо.... замечательно, остроумно, тонко даже.... поскольку изъять из рассмотрения промежуточные продукты производства..... Небо чистое и все.... как следует». Пауза и разглядывание прищуренным глазом объектива. «Н-да... все хорошо, что хорошо кон.... война — пережиток варварства.... но, конечно.... конечно.... в конце концов, если представить себе, что в наше время.... Но в общем им вклеили по первое число, и астрограф — цел. Следственно.....».

Наверху плавно плавали аэро и ковылял оставшийся целым маленький дирижабль. Три толстеньких точкиплыли к земле и к ним понеслись два аэро и автомобили из обсерватории. Операция удалась: пират был уничтожен —

это стоило одиннадцати аэро и четырех кораблей. О количестве людей разговору не было.

Через два часа они сидели в обсерватории, избитые, изломанные, но живые и вполне довольные. Квартус рылся в обоженных бумагах, найденных на пирате и составлял списочки так, кое-куда, на всякий случай. Магнус уже настроил реляцию: она была торжественна, груба и залита ехидством.

Квартус обходил раненых: маленькая приемная лечебница была набита обоженными, изрезанными, искромсанными людьми. Они лежали на полу. В маленькой операционной раз за разом, резали, резали, резали. При Квартусе туда пронесли жалко ноющего человека: ему в лицо заглянул врач и остановил несших: «Этого уж не стоит... куда, ему полтора часа от силы, давайте другого... Квартусу стало кисло во рту. «А вы попробовали бы....» — сказал он. Доктор покраснел и сказал: «М-да, если прикажете, но перетонит уже и прочее, через десяток минут кома, ну и далее...». Он взглянул вопросительно. «Будьте добры», — сказал Квартус. «Несите», — со вздохом ответил доктор. И Квартус прочел у него в глазах: «вот ты, батюшка, чудишь, да гуманность показываешь, а пока я с этой падалью буду возиться, там трое сдохнут!» — И он оглядел с сожалением других раненых. «Ничего тебе не будет, — мысленно ему говорил Квартус, — ты постарайся».

Через шесть часов Квартус в маленькой запертой комнате стоял на коленях перед той девочкой из радио-кабинки, глядевшей на него во всю силу первых женских ощущений и говорил ей, запинаясь и дрожа: «Милосердием к слабым, падшим и испуганным... Сердце открытое несчастью... Любовь всюду и везде.... Жизнь, жизнь и жизнь: а я исчезаю, умираю в невероятной тоске и свалке, — вот кровь, злоба и проклятия. Жизни — земле, жизни — мы устали свирепеть и убивать! Это все равно ничему не помогает. Все в милосердии, простоте и сострадании. Без этого мы никто ничего не понимаем и ничего не можем. Но в жизни есть тайные начала, борющиеся с человеком... т.-е. я хотел сказать, эта вот культура и все прочее, там ну, — философия,

это борьба человека со смертью: покуда она не кончится чьей-либо победой, ничто не может быть осуществлено: потому-то мы и понимаем мир как процесс, потому все разные глупости о бесконечности, — потому, что человеческий разум не видит конца этой войне, и живет в процессе этой войны... вот. Мы отлично и навеки знаем теперь, что ничто не может спасти мир из всего этого: борьба со смертью не окончена и не может быть закончена. А мы как дети, бросаемся на самих себя: вот мы бьемся с знами, конечно, мы не можем с ними не биться и мир не может нас не поддерживать, потому что он знает, что если они нас съедят, то это опять история на пять лет, а в сущности мы пробуем бороться с собственным энизмом и, разумеется, тщетно, ибо это мы сами, только с другой стороны: так наша правая рука борется с левой. Получается кавардак и чорт знает что. Это называется жизнью....»

Она слушала еле дыша. Никто не мог так ясно и чисто, словно архангел, говорить ей: все было ясно и вот именно так, как он говорит. Смешноватая терминологичность и кажущаяся точность его определений быстро и ясно разлагались в сознании слушателя. Мир, что он там толкует о мире! — этот мир целиком, нацело и начисто уложен в нем, только в нем (читай Декарта, неверующий), так дисквалификация мысленных течений, по своему тяжеловесных, но по своему и легкомысленных расплывалась у слушателя в точную в его смысле душу происхождения: это было облако вокруг сегодняшнего дня, начавшегося суматохой по поводу забытого зеркальца и кончающегося, после грохота воздушных катастроф, так. Капитан подошел к ней на корабле, сказав: «Вот-с!» улыбнулся и протянул стянутый в шар парашют. Добавил: «мой подарок — там напишите, да впрочем не трудитесь — я человек одинокий», и тень пробежала по лицу.....

Он ткнулся к ней на колени, но вспомнил, что ей не видно его лица, и что это в женских понятиях нелюбезно, приподнялся и говорил:

— Вот еще эти (он кивнул в сторону обсерватории) могут кое-что, но ведь они мужланы, компрачикосы, им, если

из сорока опытов, одна туда-сюда удался — достаточно: теория готова, философы уж выкрасят, а что за это будут через век резать людей, им плевать с высокой Пизанской башни. Что у них там по существу делается, это уму непостижимо: все их формулы — надувательство, но он лезет себе на стенку и лезет, — и знает, зачем лезет: через два года из этого выйдет паровик или еще что. Они мужественно борются, и там тоже война и, никаких сентиментов. И так создается этот курьезный и жестокий синонимический мир равновозможностей, взаимозаменяемостей, в котором мы должны жить...

Он смотрел на мягкое теплое лицо, на глаза, светлые до невыносимости, глядевшие на него так далеким, пьяным холодком: ему казалось, этот нежный, кажущийся безкровным, как степь в закате, розовато-бледный коврик щеки, эти беспокойные ресницы и чистейший алмазный блеск по птичьему сторожких и умных глаз. Он глядел на человека, и человек ему представлялся чудом, — как небо, как речка, как горы Техаса с их прохладными родниками.

Молодая женщина взяла его голову в руки, ласкаясь к нему, и стесняясь, сказала:

— Вы удивительно хороший, добрый... Я бы никогда не подумала... И потом вы меня так напугали на корабле!.. А почему никто вас не знает и Бог знает, что о вас говорят? — это нехорошо: если бы все знали, то... нет лучше пусть никто не знает, а вы, пожалуйста, мне все, все рассказывайте, — это так хорошо вас слушать... точно Богу молишься... Мы боялись на корабле, что нам придется с вами ехать, вот все трусили, — а я больше всех! — и она рассмеялась.

Он глянул на нее и продолжал, как бы не слыша:

— Вот восемь лет... А что мы сделали? — надо было перераспределить богатства, но теперь вот они так распределяются, что попадут в руки самым отъявленным негодьям и таким уж жохам, что тех ничто и никакие не возьмет... Мы в эти восемь лет жили, как дети: победа в Австралии, Канада за нас, — валяй, круши, ничто помешать не может. И крушили, а у жизни есть тайный смысл — и помимо нас, и он нам не сочувствовал, так как он никогда человеку не

сочувствует, полагая, что *homo sapiens* не по чину берет. А когда нам пригибали спину, мы опять-таки шли на все, и опять зря; опять этот смысл восставал на нас, он не любит резких переходов....

— Нет, — говорила она через несколько времени, защищаясь, — пожалуйста, ну, пожалуйста, вы мне этого не говорите.... и я самый обыкновенный человек.... ну да, ну вот зачем вы так говорите, ну я не думаю, конечно, чтобы я была какая-нибудь особенно плохая, ну все равно не надо так говорить, и совсем это не нужно.... ну, как вы не понимаете!....

Он глядел на нее — на ее расцветающие плечики и думал: как жизнью отточены вот эти линии, как наполнены они мерно и славно, — как через это все живет мысль человеческая: ведь вот это уж человек и он построился из таких то, таких то мыслей и это знание и есть красота, удивление, Бог знает что это такое — но что бы мы были за свиньи, если бы этого не было здесь, кругом, везде!.. Неожиданно он почувствовал, что живот его плавно и даже приятно дрогнул, кто то ухватил его за горло — тут он свернулся к ней в колени, в ласковые руки и заплакал коротенькими сладкими рыданиями.

— Ну вот, Господи, — говорила она глядя ему волосы и нисколько не удивляясь, — вот видите... вот вы плачете.... Фу какой..... замечательный — хороший-хороший....



XVII

И так восстав, немедленно спешу к
морю, дабы, омывшись в его водах,
очиститься от всякой скверны.

(Золотой Осел)

В темной, глубокой, успокоенной — и такой отсюда необъятной — лазури облака двигались на запад. Чуть-чуть еще и их бег должен был приобрести тот тонкий, отчетливый, серебряно-песочный оттенок, соответственный вечеру, миру, ночной прохладе, целительно входящей в душу: закрытым очам мира, пережившего тысячи тысяч несчастий и не ставшего ни злым, ни дураком.

Он прошел небыстрыми шагами узкий и низенький тоннельчик, прорубленный в большом утесе, вышел к свету — а солнце уже нижало сзади за тем утесом, кидая огромную синюю тень на дыхание мощных волн — на маленький, из того же камня высеченный балкончик, сел перед низеньким барьером и глянул вниз. Отбежав от берегов метров на 50, покачивалась ровным ожерельем, причудливо припоминая береговые очертанья, остывшая пена — и низенько, приспуская концы острые крыльев, над ней расчерчивали воздух чайки. У подножья коричневого утеса море пело: торжественно поднимало оно голос, выкидывая новую волну всю тонкого зеленого стекла, доносило ее с криком и ревом до крутого берега и в ярости и блестящей упоительной страсти закидывало шипящие, шумящие, щебечущие пенные концы своей удивительной шали на темные груди скалы. Тихими ручейками, сладкими слезами сбегали чисто-пенные воды по извилинкам камня, они впутывались в точную кривую новой волны, подрубали ее основание: — тогда она, как лев ночью, поднимала пушистую в пене голову, мрачно урчал ее рев — и вот через секунду вся она ложилась белейшим покрывом на камень. А камень чуть взбле-

скивал там налево, маленьким пиком, золотимым в розовый сон утомившимся солнцем. Квартус раскрыл ноздри и потянул в себя соленый горьковатый перепутавшийся с щекочущими запахами трав воздух — и чайка, взвизгнув резко, выписала свой минимум над его головой.

— Гнездо у ней тут что ли?... — с интересом сказал он вслух, — чего этому зверю здесь требуется?...

А зверь опять пронесся над балкончиком и Квартус видел ясно, как удаляется он, равномерно похлопывая крыльями и поворачивая глупенькую и сердитую голову с загнутым носом. Он нагнулся через балкончик и увидел своего крылатого приятеля, торжественно подпрыгивавшего на волнах и рыба уже вертелась у него в клюве.

— Правильно, — скрепил Квартус, — резонный мужчина.... обед прежде всего, остальное несущественно: если бы ты, белый, сидел на нашем месте, ты бы делал, конечно, те же глупости, что и мы, — но тебе плевать сто раз на твой чаечный коллектив и его недоброкачественность и ты себе живешь в свое удовольствие, махая своими крыльями. В море живет рыба, и она вкусная — простой до святости постулат существования. А главное, что такой не обманет, вот что хорошо, — дураки мы были — первых надо было философов вешать....

Эти благочестивые размышления были своевременно — с точки зрения развития нашей повести — прерваны торопливыми шагами по тоннелю, на какие Квартус оглянулся с глубоким, хоть и скрываемым огорчением. Это была давнишняя — вот эта, не дай Бог, такая она.... — Аня, с которой началось владычество Филя над не во время зевнувшим миром, и с которой теперь нужно было вести серьезный разговор.

— Здравствуй, — сказала она скороговоркой, покрасневшись (и что то будто давнишнее милое пробежало по постаревшему лицу), — извини что я не предупредила, но я ужасно и так опоздала, с пароходом и со всем этим.... Капитана дали увальня, я ему говорю.... а он.... это немыслимо.... волнение, вообще устала я.... И что это вы за телеграммы присылаете?.. вам тут хорошо вообще рассуждать!...

— Сядь, — сказал ничуть не обеспокоенный Квартус, — сядь ты пожалуйста.... ну, да, и молчи, ради Бога. Тут чайки, вот — море, а ты опять с пустяками....

— Всегда вот так.... я там Кугелу так прямо и говорила: Квартус философствует, Магнус владычествует: а мы вот здесь — это же невозможно, бесчеловечно: четыре месяца, четыре месяца!... и хоть бы раз спасибо, ну помощь моральная, и все таки легче, — нет пишут чорт знает что: какие Наполеоны! — а в войске и чума, и малярия и еще что то такое.... я на себя удивляюсь....

— А я не удивляюсь, — ответил Квартус, — чего бы я, странное дело, удивлялся? — ты вечно, такие песни поешь: это тебе доставляет удовольствие....

— Никакого, можешь быть уверен.... и если....

— Знаю, знаю, — брось ты, ради Бога, посиди смирно: я тебе буду подходящие слова говорить.

— Ты бы раньше о них вспомнил, а то эти телеграммы....

Так он и продолжался, этот прекрасный и божественный разговор, но его невинность, наконец была приведена в порядок Квартусом и далее разговор поехал уже полегче.

Аня села, аффирмировала, что здесь и правда очень хорошо («а вот в Персидском заливе, ты вот не был»....) и перебивая себя, мрачными отступлениями на тему о негодности всех окружающих, коварстве и бестактности их — тема была любимая, старая, хорошая такая и ею занимались очень, очень серьезно (а Квартус терпел и молчал, слушал) — вспоминала неудачное отступление вглубь Аравии и прочее, и прочее. Квартус сидел, помахивая ногой и сводил к одному в голове рассказы и выводы его были мало утешительны.

— Стой, — прервал он ее, — ты у Магнуса была?

— Не была я у Магнуса.... я к нему и не пойду.... это безобразие: я ему этой телеграммы никогда не прощу.... ну что он думает — Верм будет лучше меня там оборачиваться? —не беспокойся, пожалуйста, там — никто не вывернется, — отлично тогда Цимес сказал: — «это, грит, — какое то молохово брюхо» — люди мрут, как мухи, а ведь те у се-

бя дома. Магнус!... Магнус!... подумаешь, какой Магнус!... дурак он, твой Магнус.

— Скажи еще раз и повешу собственными руками, — ответил, зевая, Квартус, — и вообще: не визжи, — это скверная привычка, а толку никакого. Вы вот верно там только и делали, что визжали, вот Суэц то и промотали.

— Квартус, — сказала она, прижимая руку к груди, — ну слушай, Квартус! ты ничего — не знаешь: мы там решили — положить все, но не уступать канала.... ну и в результате все же должны были это сделать.... и кто нас заставил? Со всем не эны, вовсе нет, а то, что у нас больше сил не было там ни дня стоять....

— Э — сказал он, зевая, на этот раз во весь рот (на что она ему и ответила тотчас же: «тебе и зевать то вовсе не хочется»....) — ну что там: — дело же просто — вы нас там так устроили, что это еще на полгода: теперь Верм уходит чорт знает куда, потом будет наступать, знаем мы эту волюнку.... ты мне вот что скажи: где вы раньше были?

Рассмотрение этого щекотливого вопроса съело с полчаса. После этого Квартус встал и пошел с ней назад по тоннелю, неодобрительно качая головой: «повесить вас, моя милая, надо, повесить: высоко, очевидно и коротко, как говаривал один немец, продавая на аукционе творения Гегеля».

В доме — милом и воздушном на закатных лучах — Квартуса ждали еще два удовольствия. Секретарь поймал его, еще в саду и нелепо звучала эта абракадабра под блестящими листьями магнолии:

— Тот старичек.... вы велели тогда.... и потом просительница, наглости неопишуемой....

— Фу, — сказал Квартус, — это уж без совести совсем: приехал на два дня — и опять все сначала! ну чорт с ними. Давайте.

В кабинет ввели чистенького старичка, в черном поношенном, но старательно приглаженном сюртучке, с зачесанными на лысину с тою же особой старательностью волосиками. Личико его изображало великую готовность ринуться в то самое место, куда укажет начальство, но в малень-

ких глазках светилась однажды там зажженная тихенькая свирепость.

— А, приятель, клеветник и мститель! — обрадовался Квартус, — вот кого давно не видали, — да, да.... Так, так.... хороший мальчик, утешаете родителей, нечего сказать....

— Да помилуйте-с, — сказал тот обидчиво, — вы войдите в положение, вы обратите внимание, ведь должны же быть человеческие чувства.... Я-с, вам доподлинно известно, — я не первый год.... но это превышает всякое терпение.... я человек семейный.... шесть человек на плечах, я их от кулаков должен кормить, это раз, так. Дальше-с: вам ведь известно январьское предписание за номером.... Следует ли придерживаться прежнего распорядка.... а с другой стороны, кажется, уже довольно намучились: я человек простой, позвольте вам откровенно сказать, вы меня довольно хорошо знаете....

— Так то так, — ответил Квартус, забавляясь, — да вот ходят слухи, что вашу милость пора убирать, что вы, милейший мой, разлюбознейший мой, спутались с какими-то гадкими людьми, вы нас, дружок, обмануть хотите....

Старичок выпучил глаза и, видимо, не знал, что отвечать.

— Вот-с, — сказал Квартус, — так. Мы все знаем: организация, батюшка!...

— Кто говорит, — с великим отвращением согласился старичок.

— Вот есть такие, что и говорят.... и знаете, что они говорят?

— Не могу знать....

— Не можете.... неприятно. Очень неприятно. — Он кивнул секретарю и сказал — покажите им наши бумажки и всю армиатуришку... да, а вы, дорогой, составьте мне экстрактец...

А за сим в комнату вплыла тоненькая и чрезвычайно гадкая особа. Тонкие ноги, руки из одних костей, длинная рыжая шаль, в каковую была увернута особа, — птичий, глупый, особо, на премию взгляд, клюво-образный нос, тонкие губы выверченные так странно и необыкновенно, что никак не могли скрыть прельстительного блеска дивно раз-

двоенных зубов, чуточку — но вполне достаточно — в сторону отставленные уши, — такая, одним словом, Рибейра, что не дай Бог никому. «Замечательно, — решил про себя Квартус, — как она на раскрашенную вошь похожа, это прямо удиви....» — но гостя прервала его. Она уселась без дальних слов и защебетала:

— Ах Боже мой, вы знаете — это неопишимо — хи-хи-хи, — я к вам сюда добиралась.... эти церберы, а у вас церберы.... хи-хи-хи, и этот ваш секретарь он похож на замороженную лягушку, это бессмертно и гениально. В моей биографии будет упомянуто.... хи-хи-хи, — когда я впервые выступала.... первые невинные опыты — но распушенность, это вообще не для меня.... искусство живет века, его глубина, все должно быть просто и величественно.... и все, кто видели меня в этой роли.... вы наверно помните.... вы тогда проезжали через Рио, нам говорили, что вы инкогнито в левой ложе, ничего не видно было со сцены.... я бросила розу.... и он мне устроил потом такой скандал.... он так был влюблен, что почти меня соблазнил.... бегал с растегнутым жилетом.... жена — выкидыш.... семейное счастье.... наш антрепренер ссорится из-за меня с примадонной.... интриги, ужасные интриги и я должна была уехать....

— А от меня что вам угодно?

— Да просто ничего особенного.... я вашему секретарю сказала, он такой глупый мальчик, он мне говорит: — «я вас к Квартусу не пущу», а я ему: Нет пустите, да еще вас из комнаты выгонят, когда со мной будут говорить.... он совершенно не чувствует женщины.... знаете, так иногда бывает, чувствуешь: если сегодня.... и решила: поеду к Квартусу, у него есть дача....

— Кончайте. Еще три минуты....

— Пожалуйста, пожалуйста.... я ведь не тороплюсь.... у вас дела.... ну да, я понимаю.... я могу подождать....

— Сударыня....

— Да нет! Ради Бога....

— Ваша просьба....

— Да мне нужно турнэ.... я собственно посоветоваться.... и потом у меня совсем нет денег....

— Хорошо, — сказал Квартус и позвал секретаря: — дайте вот этой даме авто и двух провожатых и отправьте сейчас же к Ольборгу, чтобы он ей устроил все, что ей требуется....

Секретарь расцвел, а дама сказала, по бледневши :

— Но почему же, позвольте, к Ольборгу?.. я совсем туда не хочу.... я его знаю, он очень милый и деликатный.... но я.... да не смейте вы меня трогать!.. ай — он нахал!.. вы меня не смеее отсюда уводить, я буду кричать!... ай! это ужасно!... я не хочу к Ольборгу.... я знаю его.... это очень жестокий человек.... Я не хочу.... да как вы смеее меня брать за руку?... я не хочу!...

А засим привели и старичка.

— Ознакомились с документиками? — спросил вежливо Квартус — красивые бумажки? не правда ли....

Старичок молчал, опутив вспотевшую от страха голову.

— Вот-с, — продолжал Квартус, разрисовывая блокнот, — а вы мне тут пели.... а вы пели....

— Великодушно.... — сказал старичок и губы его тряслись, — великодушно могли бы.... мы ж — люди маленькие....

— А гадостей можете наделать больших...

— Великодушно, — блял тот, — могли бы-с... все таки.... измучились, не знаем куда кинуться: кругом то вот мрет все.... страсть: ведь жить опасно.... великодушно, извольте смиловаться....

— Знаем, — сказал Квартус, — словесные бури: петь то Лазаря вы все хороши: посмотрел бы я как вы бы со мной стали великодушничать.

— Что ж,— сказал невольно соглашаясь старичек, — воля ваша, не смею спорить.... — и безнадежно сложил руки.

— И что с вами делать? — вот что-с: останетесь здесь, будете здесь у меня под носом жить: но если только что — повешу в пятнадцать минут, — поняли?

И старичок, еле живой убрался. А секретарю сказал Квартус:

— Вы позвоните Ольборгу: пусть пугнет и выгонит: вот мерзость какая....

XVIII

Заунывный ветер пробежал по
опустелому пространству, как
гигант, кликавший свою собаку
пронзительным свистом.

(Диккенс)

Приехал Высокий, — тот, что ранее так назывался, а теперь носил имя Хатуса. Втроем шли они горами, а ветер привязывался к ним, назойливо, скучливо и злобно. Он поднимал сухой серый каменистый песочек и сыпал им, тоненькими струйками — безобразничал, скучал и баловался. По желто-серым кучам камня, гористого щебня пригибал он сероватую зелень, покачивая хвостик любопытной и непоседливой птички. Ухало вдалеке за обрывами море.

— В общем дело как будто и лучшает; — сказал Квартус, — целебесская флотилия вчера в шесть утра вошла в Баб. Вот-с, все-таки там, что то творят....

Аня молчала, вздохнула, подумав, что если бы армада Океании пришла туда на недельку раньше, ей бы не пришлось сюда ехать и вести все вот эти разговоры.

Они шли, отворачиваясь от ветра, пронзительно вскрикивавшего, а мрачный Хатус спорил с Квартусом:

— Вы с Магнусом.... ну я не спорю, у вас здесь все под руками, все видно, да и время не так бьется, как у нас там, да у вас потише и насчет геологии: — Европа теперь это сплошной пружинный матрас, все прикарпатское и прикавказское землетрясается по два раза в неделю, Черное море гуляет теперь там, где Дунай Иваныч бежал, да и в Альпах не все хорошо.... Так это потихоньку, не спеша Вулкан работает — а результаты мрачнейшие.... Ну и все же: возмущение последними вашими новостями адское — что вы

выдумали с золотым, обращением? Ведь это курам на смех — подумать страшно: стоило ли огород городить?...

— Вот, — перебила Аня, — а последние распоряжения об изъятии из рук частных лиц права выпуска бумажных денег — это на что похоже? И эти ваши двухмиллионные коллективы, которым передается право эмиссии, ведь это на деле сведется к восстановлению границ и к образованию государств, — так или нет? какая гадость!... восстанавливать границы, когда они уже сами собой отмирают.... и на севере их нет более, там не знают, что это за фронтьерка такая, вот в Скандинавии и....

— А много там народу, в этой Скандинавии? — спросил Квартус.

— В Стокгольме по последним сведениям одиннадцать тысяч человек.... — отвечал Хатус.

— А было ?

— Ну, что об этом говорить, — отвечала она, — что было. Теперь это вовсе не мало — одиннадцать тысяч человек для центрального города; на ваш американский масштаб — это выходит другое, но ведь здесь не чудо было сохранить людей и жизнь, — а там, в Европе нивесть какая резня шла, — вы ведь ее съели, Европу, а сюда уже явились либералами, чего уж хитрить.

— Да чего нам хитрить, — отвечал Квартус, — я с этим и не думаю спорить.... смотри, Магнусу не скажи, он этого не любит, а я ничего.... Но не в этом же соль. Вам то чего хочется? — добить обе Америки до того же, и когда в Чикаго останется два человека, брат Хатус въедет туда на палочке верхом, а призраки свиней будут кричать: банзай. Так? А чего вы в Африке добились, когда объявили новый золотой террор — я тогда еще Магнусу говорил, что вас оттуда убрать надо, а он вас заслушался, Африка де совершенно девственная почва... Ну, и что у вас вышло? — опять заиграло, опять э н ы, опять каша и все прочее, а ведь это только упусти....

— Э н о в мы не выдумали, — отвечала она, — появились они потому, что мы их прижали — вот оно и полезло.

— Слышали, — репликовал Квартус, — это с Ольборгом два раза в месяц такая истерика: как почки начинают шалить, так два новых заговора: нахватает людей, заводит какую то кашу, а потом собственных корреспондентов начинает заточать, — а это то дурачье чем виновато? честно исполняло начальственные предначертания....

— Так что же ты думаешь, что в Танжере не было э н о в? Ну это уж, знаешь...

— Милая, они везде есть — и мы с тобой с точки зрения того же Лонгуса, который вчера нам прислал депешу в два тома — чуть что не войну нам объявляет.... на той неделе здесь будет, между прочим, — э н ы, э н ы, да еще хуже всяких э н о в!....

— Ну, — сказала она, свирепея, — ты уж Бог знает что.... Да тогда вся эновская аргументология вообще блеск и последнее слово науки, — они говорят: что сделали л и б ы? — культура разрушена....

—В Карпатах землетрясения.... — тихо добавил Квартус.

Но она не слушала:

—половила земного шара вымерла, вымрет и остальная, бестолочь идет невиданная с потопа....

—и кроме того в душе они — эны —заклучил Квартус, — дело, дело, моя милая! — ну что за препустейшие разговоры, для чего я буду пробовать разрушать пустое место: к чему? кому нужно? ну рви динамитом Сахару, ну — отрицай нитроглицерин, ну — не давай прививать оспу: а она, голубушка, весь Китай съела!... Нужно делать то, что можно делать... а коли вам требуется аргументация и словесные орнаменты: телеграфируй в Пресбург, у меня там целое заведение из философов, — через два дня все будет готово, объяснят все, что хочешь, да так уж тонко и неопровержимо....

— Квартус милый, — сказал Хатус, — но ведь это неслыханный цинизм — ваше философское заведение, будем же откровенны!

— Отлично слыханный, — отвечал тот, — никогда они ничего другого и не делали, только раньше из любви к ис-

кусству, а теперь по телеграмме, — да как довольны, вы бы посмотрели.

— Как хотите, — говорил Хатус, — как хотите, но это просто, на мой взгляд — свинство....

— Что ж делать, — вскричал Квартус, — да ведь все, что было — и было ставкой на свинство.... Есть позитивизм и позитивизм: из того, что Кеплер позитивистичнее Птоломея не может следовать, что миропонимание ренессанса выше александрийцев... мы и сунули им самый горький, самый нищенский из позитивизмов — кто его абсорбировал, кто уселся на последний кирпич своего дома и сказал: «ну вот теперь я, слава Богу, пристроился».... — кто начал славословить этот кирпич, сжигать ему жертвы — тот и есть последняя, никому никогда ненужная свинья и дело делает Плутон, когда он вашу освиनेвшую Европу в куски раскидывает.... туда и дорогу старой мерзавке. Подумайте-ка, без затей, — ведь все наши разговоры в общем тогда к чему сводились?... ну, если, разумеется, там всякое откинуть, орнаментацию и далее.... мир разваливается, вы это, друзья, не видите, но увидите через десять минут, ломай, — а не то, не дай Бог, он сам начнет ломаться, тогда ног не унесем. Катастрофу нечего предрекать и рассматривать: вот она, на носу! Вопрос сводится к тому: уцелеем или нет? Тут некогда разговаривать. Ставь возможный минимум требований: прожить до завтра, — лезь из кожи вон только для этого.... Вот как... Но вот тут-то и начинается трагедия раздавленного сознания: ему странно кажется — ведь очень понятно, как это в мозгах происходит — что эта рабочая программа, — вот, прожить до завтра во что бы то ни стало, — и исчерпывает задачи людей вовсе и навсегда. Раз такое решение въелось в голову, — крышка, человек кончен, начинай всего Дарвина сначала....

— Э! — обидчиво протянул Хатус, — отсюда это хорошо....

— Зря, зря! — и у нас не сладко: вон на Миссисипи третью неделю рыбий мор: все побережье заражено, с ног сбились — не завидуйте. Но человек обязан во всех случаях

жизни бороться с миром, а не разводить орангутангов, которым на все начихать, лишь бы у них шерсть не лезла...

— Ну и опять выходит, — сердито сказала Аня — опять то же самое, что э н ы правы по всем пунктам.

— Вот им Верм все пункты теперь объяснит! — разозлился Квартус и, заметив, как вспыхнула она, закончил полегче, — э н ы просто дураки и больше ничего.... Да и потом, какие эны, их ведь масса.... а общая глупость в том, что вся эта свора полагает, что существуют какие-то незыблемые основы, только ты их восстанови, а там уж все и пойдет, как по маслу....



XIX

Я сам приближаюсь к этой цели со скоростью шестидесяти минут в час.

(Б. Шоу)

После длиннейшего разговора Квартус и Лонгус вышли от Магнуса. Лонгус был расстроен и совершенно подавлен.

— Что это, а! — говорил он, — а! Что? Да не понимаю.... ну и вы не понимаете..... глупо, мучительно!... стыжусь самого себя.... и как это вышло?... ваш Магнус — деспот.... смешно думать — он единственный здравомыслящий человек на земном шаре.... а! что вы говорите? как? — решительно страшно, да нас в конце концов.... мы исчезнем.... мир, мир! подумайте, какая цаца!... да этот мир.... мы его крутили, как оглоблю, восемь лет... все гибнет, это профанация.... я не могу перенести.... а? что вы сказали? верно?...

Так источался из сего длиннейшего персонажа его мизантропический пыл. Квартус наконец кивнул ему, сказал : «Идите домой, отдохните, пустяки в общем» — сел на автомобиль и уехал с Аней в свое морское убежище.

На другой день холодный и визгливый ветер провожал их по тропинке, которая бежала, кривляясь, по обрывистому берегу метрах в 10 над водой. Чайки вскрикивали обидчиво и протяжно, застываясь на растянутых крыльях над гребешками волн, и тучи валились по-над морем с глухим и темным постоянством. Квартус стал над морем и смотрел как рвал ветер поредевшие спины волн, как срывал он и крутил эти пены, бросая в воздух маленькие тромбы. Море темнело и серело, а внизу, у скал черные от ярости валы хлестали и хлестали, образуя котел кипящих и мужествующих пен. На горизонте чуть чуть поблескивал дымок, Квартус знал кто это, — в только что взятый и почти уни-

чтоженный Танжер везли рис и маис. Квартус был недоволен, ночные страхи не давали ему жить, странные обсессии отравляли жизнь. Доктор сказал: «советую заняться серьезно здоровьем, совершенно серьезно, да-с.... ничего органического, но все расшатано.... отдохнуть» — но отдыхать нельзя было.

Аня подошла к нему, тихонько подняла его руку и поцеловала. Он глянул на нее с удивлением, погладил ее руку рассеянно, а через минуты три не относящихся к инциденту размышлений спросил:

— Что это ты?

— Не надо сердиться, — умоляющим голосом сказала она.

— Да что ты? — сказал он ласково, — я просто спрашиваю....

— Ну ничего, так, ты раньше ко мне лучше относился.

И Квартус, который понял фразу всю уже после слова «ты» ответил как только мог серьезно:

— Да, я и сейчас ничего. Только.... огрубели, знаешь, мы.... что-ж, такая жизнь серьезная.... ничего не поделаешь... да ты что то куksiшься?

— Нет, нет, ничего.

«Рассказывай, любезничай ничего» — подумал Квартус, но не стал спорить. Сказал:

— Ну, идем, пройдемся немножко....

Они шли, молча и задумчиво; ветер нагонял и рычал за уши.

— Верм в трех переходах от Суэца, — сказал Квартус, — дело поправляется. Но он пишет, что если за неделю не успеет всего кончить, придется позорно бежать, — войска не останется.... Но и у них то же самое делается.

— Суэц жалко. А тамошние инженеры говорят, что он уж очень сильно испорчен.... Говорили тоже, что выгоднее новый канал сделать, чем с этим возиться. Там у них есть такой проект — соединить Средиземное море с Евфратом и в Персидский залив....

— На сто лет работы, — сказал он.

Вдруг он остановился.

— Что ты? — спросила она.

— Сердце, что то.... — сказал он слабо и побледнев.

— Вернемся сейчас,—сказала она перепугавшись.

Но он глянул на нее вопросительно и удивленно, пена чуть выступила на губах, он приподнял руку и упал.

— Алеша! — зашептала она дрожа и плача, присев над ним. — Да что-ж это такое.... Господи! — и нет никого....

Она попробовала приподнять его, но тело вдруг отяжелело и не слушалось ее рук. Пульса не было.

Он был мертв.



XX

Мне показалось, что это только кружево,
кружево и одно только кружево.

(Достоевский)

Четверо, шли они садом Квартуса: Магнус, Хатус, Лонгус и Аня. Лица их за эти две недели пережили какие-то долгие муки. Магнус осунулся, побледнел, говорил мало и был странно рассеян. У Ани вырос какой-то старушечий горб, а на висках светилась седина. Она постоянно плакала. Только Лонгус все так же приставал ко всем со своим. «А? что вы говорите?» — хоть никто и не думал ему ничего говорить.

Со дня похорон Квартуса стоял теплый, сладкий август. Море чуть пело, баюкая скалы лъстивыми мольбами. Чайки носились неслышно над индиговой гладью.

Они вошли в беседочку над складами. Об этой беседке не знали до смерти Квартуса, он никого туда не водил, и в ней были найдены кое-какие его бумаги. Остролистный, пестролистный кустарник поблескивал на солнце своими кривовырезанными листиками, на сухой кое-где земле смотрели цветы, так, какая-то мелочь, желтенькая, но нежная и трогательная, — над ней вились и пели пчелы, застывая перед цветком, — вдруг потом замолкши, серьезными лапками перебирая расцвеченные жилками лепестки и улезая в рыльце цветка так, что только круглый толстенький задок насекомого виднелся оттуда. Маленькая серенькая металлическая загородка блестела на солнце, ее тонко в воздухе висевшие прутья казались лучами, рассекающими море, — а между водами Океана и ею плыл и жил живой, нагретый и спокойный пласт воздуха. Чуть вглядевшись, глаз различал: — вон, вон уходит синяя полоса мор-

ских вод, налево там сизые скалы косами и этажами низжутся над морем и по ним играет мелкокустьем низенькая темная зелень. Дальняя коса вся в тяжелых ухабовых выбоинах, — так ее точит дождь, когда сбегает в море, а выбоины завалены сносимыми ручьями камнями — сверху мелочь и щебень, ниже покрупней валунье. И серое-желтое камень серо живет в солнечных лучах, над ними хвоя щебечет, плавно отваливая с ветром в простор, сердито качая и мотая вершинами, — точно громадные кони взмахивают торбами с овсом. Далеко исчезают, далеко полиловевшие косы последних скал, — к ним идет сильно кренясь перед пенистым следом челночек с серым парусом, — остренькое его ухо розовеет на благословенной глади. Чуть резко оборачивает челночек перед мысом, солнце падает в глубину ему: и она тогда сразу вся загорается серебром наваленной в лодку свежей рыбы. Челночек идет с работы. Теплое море бредит, прижимаясь к скалам, и оттуда вдруг неожиданно сваливается маленький камушек и, долго подпрыгивая по трещинам, вдруг подскакивает и, описав тонкую линию, булькается в волны. Чуть щелкает синь и проглатывает его. Тишина смотрит людям в глаза. И Магнус говорит:

— Сядем. Я вот здесь никогда не был. А он здесь жил...

Лиловая тень крыши ползла недвижимо по мелкому, искрящемуся песочку, ярко и сильно жглись в солнце скамейки, другие тихо будто плавали в успокоенном тенью воздухе напротив. Над столом — Корреджиева Ио сладко и несравненно тонула в облачном лобзании, ее полные сладостной осторожности руки и профиль, покинутый в неизвестное, вдруг напоминали: перед снимком стоит Квартус, покачиваясь на каблуках и говорит с собой, жестикулируя и всматриваясь в свое отражение в стекле. Х-шш-х!... и белка перелетает, энергично правя золотым хвостом, с дерева. Темные глазки на миг мелькают по людям, ветер трогает книгу. Солнце ходит высью и махонький жучок перебирается песчинками.

Хатус глянул, уселся и сказал тихо:

— Я не знаю, что надо говорить, да и уж и говорил там на могиле, т.-е. я плохо говорил, конечно, — но не в этом дело. Я сейчас хочу сказать: ведь мы его любили, так, вот надо рассказать за что, и я не знаю, как это говорится...

— В нем было такое, человеческое.... а? правда? вы не согласны? что? — заговорил Лонгус.

— Надо придумать, — сказал Магнус, — обязательно надо, и сегодня, что сделать в его память... Ну, там памятник, это обязательно, потом еще учреждения в его память, — но какие? и как-то мелко все: хочется попрочней о нем, не правда ли?

— Вот эти обращались ко мне, — как их? — сказал Хатус, — ну, вот эти его приятели, Пресбургские философы, они там что-то выдумывают, они его бумаги забрали и что-то в великом восторге, — и что он никогда этим не занимался?...

— У нас займешься, — ответил Магнус, — только об этом и думаем.

— Потом Техасцы что-то очень беспокоятся....

— Да, — протянул Магнус, — конечно, умер — исчез: никому не нужно, родственников, похоже, нет, никогда он о них не говорил, я ничего, по крайней мере, не знаю, — да и что родственники? разве ложечки утащат. А жаль, жаль — до горечи жаль, плакать не умею, а что-то вот в горле першит да першит.... Что сказать, — да нечего говорить: он был хороший человек и в глубине носил какую-то непонятную мне доброту, вот за это его и любили.... не все, конечно... А так — деятель, ну об этом и говорить нечего.

— Почему не лечился, а?... не беспокоился — сквозняк, он не обращает внимания, а? что вы говорите? — и не спал недели напролет: очень вредно, а? верно?

— Он этим не занимался, — сказал Магнус, помолчав, — а ведь вот, что плохо: он никогда и с докторами не говорил, а тот, что его последний раз осматривал за день.... да нет, в тот же день, утром прислал мне письмо, говорил, что его дни сочтены, если он не будет лечиться тут же.... Я так расстроился, — вот еще несчастье: вдруг вечером звонят

отсюда — кончено. А ему доктор ничего не сказал — и зря. Дурачье. Положим...

— Он раз мне сказал, — с усилием разбираясь в воспоминаниях заговорил Хатус, — что мы живем, чтобы бороться со смертью...

— Да, — подтвердила Аня, — он любил это говорить, это у него была особенная такая мысль....

— Бессмыслица, — сказал Лонгус, — сейчас особенно, а? — да все вообще — его смерть сплошная бессмыслица: ничего не понимаю — зачем умер? почему сейчас, — а? нет вы ответьте? ну? — а разговор о борьбе со смертью, да так это: философия.... но все равно, кошмар и нелепица. Трагедия, трагедия, а к ней какой то свинский, шутовской эпиграф: стыдно, глупо — не жизнь: вырезал бы пол-Африки за него, — всю Африку, всю, до последнего мерзавца! — чего они там живут, спят с женами, жрут, греют спину об солнце, а-а-а! — когда он, наш бедный Квартус.... А что он говорил — неверно, неверно, при чем борьба со смертью! — не причем.... не относится.... это толстовщина вносить такую иррациональную струю.... как Толстой где то говорит: «если, — крик, — допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни...» Это — гадость! а жизнь, — мы ей свернем шею — старухе, свернем, свернем, свернем!

Пришел слуга и позвал Аню.

Она вышла в сад глянула и покраснела, но сдержалась: на скамеечке сидела, кусая губы и глядя прямо остекленшими глазами та белая девочка из кабинки дирижабля.... «Как бестактно, — решила Аня, — ужас! чего ей надо.... фу, что это такое».... Но сказать той ничего нельзя было, так глядели эти заплаканные глаза и бедненькие похудевшие ручки. «Он ее целовал и любил, — думала дальше Аня, — да, да.... э, да он мало ли их перелюбил».... — но вздрогнула от этой мысли, стало как то неловко — «просто ревную», подумала и подошла к ней. Та поднялась к ней и заговорила, плача и передергиваясь от тщетных стараний сдержаться. Аня сперва ничего не понимала, что та говорит, но старалась не сердиться, вдруг что то расслышала и вдруг, вся

загоревшись сладкой завистью и болью, спросила, задыхаясь:

— Как, как вы говорите?... ну повторите же, ради Бога.... вы.... вы.... вы — беременны?

Та кивнула головой сквозь слезы.

И Аня в слезах, чуть не шопотом, нетерпеливо: «От него, да?»

Девочка глянула на нее заплаканными глазами, вопрос показался ей смешным — и: «ну от кого же» — и засмеялась чуть, но рыдания обломили этот смех и бросили ее на скамью, жарко тряся ей плечи.

Плачущая Аня привела прислугу, и ее увели, в дом. «Ее зовут Мэри, — говорила себе Аня, идя в беседку и утирая слезы, — Господи, как я рада.... ах, вот я не думала».... И войдя спросила:

— Магнус, слушайте, а у Квартуса.... у Алеши были.... были дети? ну там от когонибудь, ведь это же все равно?

Магнус ответил не сразу, а Хатус хмыкнул и сказал:

— Да должно быть были, то есть я так полагаю, помня его пристрастия.... он ведь очень....

— Оставьте вы, пожалуйста, — перебила его Аня, — вас серьезно спрашивают, а вы с вашими холостецкими анекдотами!

В другое время Хатус не преминул бы сообщить Ане, что и Квартус был холостой, но тут он смолчал — и так никто ничего определенного сказать ей не мог.

Когда они расходились, Аня поймала Магнуса и увела назад в сад:

— Вы помните эту его последнюю.... беленькая такая....

Магнус сморщился — потом сказал :

— Кажется, что то то-есть я не знал сам то.... он то ведь об этом не говорил.... а так мне секретари что то ввали.... я ее помню, это когда мы в Техас плыли.... да, да....,

— Так вот, у нее будет ребенок — я ее здесь оставила.... — и Аня опять уже вытирала слезы.

— Ну что ж, — заторопился Магнус, — конечно, конечно.... и если что там нужно, так пожалуйста, вы не стесняйтесь вообще.... Это даже очень и приятно.... да....

Магнус ушел, чуть горбясь. Аня стояла и плакала — теперь было жалко и Мэри и Магнуса еще, за то, что он так горбится.

Она прошла в дом, Мэри спала на диванчике, подложив руку под голову: «какая красивая, — подумала Аня; — совсем Ариадна»....

Но светлые глаза Мэри раскрылись, она глянула на нее, подозвала к себе и спросила:

— Ведь вы были.... его женой.... да? — так вы на меня....

— Нет, нет, — сказала Аня, плача, — да нет, вы не думайте: так это, давно было и недолго, когда мы совсем молодыми были....



Всего лучше бежать за улетевшей шляпой слегка, исподволь, преследовать ее осмотрительно, осторожно, а потом, вдруг сделав решительный прыжок, схватить ее за поля и тут же надеть на голову как можно крепче.

(Диккенс)

Прошло пять лет. Солнце било длинными лучами в большое окно, перед которым стоял внушительный письменный стол, за которым совсем исчезал в кресле тонкий сухощавый человечек. Он беспрестанно курил, бросал папиросы и быстро, как машина надписывал по две, по три строки на бумагах, лежащих перед ним. Тонкий секретарь с острым горбатым носиком и замечательным по чистоте и тонкости пробором, лоснящийся и так вкусно пахнувший, что невольно всякий улыбался, взглянув на него, скользнул в дверь совершенно неслышно и вырос перед патроном.

— Ну-с ?— спросил тот, не отрываясь от бумаг, — что там?... и сейчас же ответил: — да, да, пожалуйста, сейчас.

В комнату вошел высокий человек, с острым темным взглядом и развалистой походкой, нисколько не гармонировавшей с прилизанной и до блеска вычищенной комнатой.

Человек в кресле встал быстро и ловко, любезно и очень почтительно поклонился:

— Хатус! — сказал он, — будьте добры, садитесь. Очень приятно, что мне приходится принимать вас, очень. Магнус за городом, он немного утомился, вы к нему проедете — хоть завтра. Как раз мы вспоминали вас, вы ведь несколько запоздали.

— Да, — сказал Хатус тяжелым басом, которому тоже не место было в этой комнате и от которого позвякивали

хрусталики у люстры, — я ведь заезжал на Цеуту, там у меня семья.

— Ну, и как от вашего путешествия?...

— В Европе очень худо, — отвечал Хатус раскуривая трубку.

Но собеседник сморщился от дыма, и уже подсовывал Хатусу папиросы:

— Пожалуйста, — говорил он, — Каролинские, очень приятный табак.... Так о Европе?

— Да худо, — отвечал Хатус, закуривая, — совсем, знаете.... а табак то действительно.... так в Карпатах жизнь начинается, а западная часть: волки и разбойники, но что то помаленьку начинает будто оживать, но народу ведь там — никого, даже странно.... А у вас как, с Канадой или как она теперь? — разделились ?

— Подписано, — ответил тот, — граница наша с юга по каналу, чуть южнее, — ну вы помните, как тогда говорили....

Хатус кивнул. Тот продолжал:

— Да-да.... а на севере довольно просто, по....

— Все новые города, — сказал Хатус, — не пойму, по старому это как же?

— По старому немного южнее и восточней старой канадской границы.

— Так, — сказал Хатус, покачивая головой — ведь не жирно, а?

— Будет, — сказал собеседник, — в старое время такая территория была достаточна для «великой державы».... и теперь хватит. Лучше ли о всем мире плакать, да вертеться, как белка....

— Да не лучше, разумеется, — пробасил Хатус, — не лучше то, не лучше, да ведь когда начинали....

Хозяин снисходительно улыбнулся и сказал не без яду:

— А вот наш Пресбург полагает, что все так и должно быть: — они там — очень интересно, советую вам, между прочим, — выпустили какое то сочинение Квартуса.... так вот там определенно намекается....

— Квартус? — сказал Хатус и лицо его расцвело, — ну если уж он! — голова была настоящая... тот бы уж, — вы его знали?

— Ну да знал, конечно, но не лично.

Хатус помолчал, улыбаясь, и потом:

— Ну а все в общем — в Австралии. Я там два месяца вертелся. Новый мир, совсем новый мир. И люди не те: холодный народ, но деловой до невозможности.... Все кипит там и горит: да у них весь мир в руках, — они любезничают вообще, да и то уж очень сухо.... в общем им просто чихать на то, кого называют главой, а то бы они нас в три минуты.... Памятник Квартусу, стоит, и там им занимаются: мне что то рассказывали, но там это совсем мало — там все дело, дело, — и чего они только, не делают? И с Марсом опять возятся, как мы возились, — секретничают, но так ходят слухи, будто успешно.... Детей у них там ужасно мало, ну уж за то и ребята.... Да, всего не расскажешь — у меня объемистый доклад есть, почитаем....

— Почитаем, — сказал хозяин, встал и подошел к окошку.

Хатус понял, что его не задерживают, и ушел, сказав, что поедет к Магнусу.

— Вот это прекрасно, — сказал тот, провожая к двери, — очень он будет рад. Скучает ведь....

Секретарь снова возник и спросил о Хатусе.

— Да ничего — старичек, — ответил патрон, — поболтать можно с ним, ну так — рухлядь, старая мебель, в Пантеон пора.

Автомобиль живо и ловко взбирался на гору, не сопя, не сердясь, а выпятив ослепительно-никкелевые фонари и гудя приятнейшим басом с присвистом. «Ишь какой любезный, подумал Хатус, — небось и раздавит то так любезно, что как рублем подарит».... Уже издалека виднелись пики Квартусова гнезда.

Там седой сгорбленный, пергаментный Магнус шел полегоньку по дорожке сада. Он подошел к акациевой изгороди, отделявшей сад у дома от той его части, которая была ближе к морю и слышал голоса. Он взглянул и скваозь

игру листвы увидал Мэри с мальчиком. Она лежала на траве и солнце играло ее светлыми локонами, а мальчик стоял перед ней на коленях и показывал жука:

— Мама! да, мама, — говорил мальчик чрезвычайно убедительным голосом, — он вот двигает усами, мама.... смотри, какие у него усы, — да длинные.... и он синий и серебрится золотом — значит, это золотой жук, правда? — мама, он пищит! жук пищит! мама, а он разве может пищать? а чем он пищит?... он носом пищит, да?

— Пусти его, — сказала она тихо, — он будет летать....

— Ладно, — отвечал мальчик грубовато-деловым голосом, — пущу уж, так и быть.... а ты слышала, как он пищит? ты слушай — то-оненько.

— Ты мой смешной,—сказала она, поглаживая его волосы, — ты такой смешной, маленький...и такой же, как твой папа... Когда вас, милостивый государь, еще тут не было, и вы ко мне не приставали целый божий день с вашими жуками, которые золотом серебрятся, так мы раз с твоим папой говорили.... давно.... и у него были такие же глазенки, как у вас, сэр, — она засмеялась, села, схватила его на руки и стала целовать. Он хохотал, визжал и отбивался. Наконец, он был выпущен и мать стояла перед ним на коленях, оправляя курточку, а он таскал гребенки из ее головы. Она схватила его за плечи и спросила:

— А ты помнишь о папе?

Мальчик затряс головой и тряс до тех пор, покуда она не закружилась. Тут он остановился и, держась за ее плечо и глядя на нее разъезжающимися от головокружения глазами, вдруг сказал:

— Мама!... ведь ты.... ты уж очень хорошенькая моя мама — вот что, да? Ну вот... и вот что, — что папа тебя и любил — да ? да? — и он захохотал в восторге, сделав это замечательное открытие. А она смеялась, глядя в его глаза, где серым фоном бегали золотистые искорки и быстро, быстро махали ресницы.

Магнус увидал старушку Аню, идущую к Мэри, хотел было окликнуть, но не окликнул и медленно пошел к морю.

Вечерело. Далеко, далеко на темном крае неба чуть легко светилась нежная пунцовая дуга — это австралийцы перемещали в Новую Зеландию трансформированную энергию Амазонки. И она плыла к ним через полмира. Тучи прошли нестройными полками и закрыли видение. Внизу далеко ныли сирены океанских транспортов. Солнце уходило.

— Магнус, — крикнула ему Аня из сада, — Магнус, Хатус приехал!

Он не оглянулся.

Июнь 1919 — Июль 1921.
Москва.



Приложение

ВОСПОМИНАНИЯ О С. П. БОБРОВЕ

Когда мне было двенадцать лет, я гостил летом в писательском Переделкине у моего школьного товарища. Он был сын критика Веры Смирновой, это о нем упоминал Борис Пастернак в записях Л. Чуковской: «Это человеческий детеныш среди бегемотов». Он утонул, когда нам было по двадцать лет. Тогда, в детское лето, у Веры Васильевны была рукопись, которая называлась «Мальчик». Автором рукописи был седой человек, большой, крепкий, громкий, с палкой в размашистых руках. Он бранился на неизвестных мне людей, бросался шишками, собаку Шарика звал Трехосным Эллипсоидом, играл в шахматы, не глядя на доску, читал Тютчева так, что я до сих пор слышу «Итальянскую виллу» его голосом, а уничтожал меня за недостаточный интерес к математическим наукам. Его звали Сергей Павлович Бобров; имя это ничего нам не говорило.

Через два года вышла его книга «Волшебный двурог» — вроде «Алисы в стране математических чудес», где главы назывались схолиями, отступления были интереснее сюжета, шутки — лихие, картинки — Конашевичевы, а главная геометрическая фигура с полумесяцем не имела никакого отношения к действию. За непедagogическую яркость книгу тотчас разгромила твердая газета «Культура и жизнь». Следующая «занимательная математика» Боброва появилась через несколько лет и была надсадно-бледная. Но мы уже знали, что Бобров был поэтом, и читали в старых альманахах «Центрифуги» («такой-то турбогод») его малопонятные стихи и хлесткие рецензии: «Ну что же, дорогой читатель, наденем калоши и двинемся вглубь по канализационным тропам первого журнала русских футу-

ристов...»¹. Видели давний силуэт работы Кругликовой, — усы торчат, губы надуты, над грудой бумаг размахивается рука с папиросой, сходство — как будто тридцати лет и не было. Это была невозвратная история. Когда потом в от-тепельной «Литературной Москве» вдруг явились два стихотворения Боброва, филологи с изумлением говорили друг другу: «А Бобров-то!...»



С. Бобров. Силуэт раб. Е. С. Кругликовой

Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все ставшие участники помнили, как наука стиховедения была отмене-

¹ Все цитаты — по памяти, кроме немногих обозначенных. Прошу прощения у товарищей-филологов.

на почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. А младших участников почти что и не было. Председательствовал Л. И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Штокмар, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кузутов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в депрессии сжег огромную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считанные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 г., собирал по одному у знакомых. Квятковский отсидел свой срок в 1930-е гг. на Онеге, Никонов в 1940-е в Сибири, Голенищев в 1950-е в Югославии: там, в тюрьме у Тито, он сочинил свою роспись словоразделов в русском стихе (все примеры — по памяти), вряд ли подумав, что это давно уже сделал Шенгели.

Бобров появился на первом же заседании. Он был похож на большую шину, из которой наполовину вышел воздух: такой же зычный, но уже замедленный. После заседания я одолел робость и подошел к нему: «вы меня не помните, а я вас помню: я тот, который с Володи́ем Смирновым...» — «А, да, конечно, Володя Смирнов, бедный мальчик...» — и он позвал прийти к нему домой. Дал для проверки два свои непечатавшиеся этюда, «Ритмолог» и «Ритор в тюльпане», и один рассказ. В рассказе при каждой главе был эпиграф из Пушкина («А. П.»), всякий раз — прекрасный и забытый до неузнаваемости («Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла», — откуда это?). В «Риторе» мимоходом было сказано: «Говорят, Достоевский предсказал большевиков, — помилуйте, да был ли такой илот, который не предсказал бы большевиков?» «Илот» мне понравился.

Я стал бывать у него почти каждую неделю. Это продолжалось десять лет. Когда я потом говорил о таком сроке людям, знавшим Боброва, они посматривали на меня снизу вверх: Бобров славился скверным характером. Но ему хотелось иметь собеседника для стиховедческих разговоров, и я оказался подходящим.

Как всякий писатель, а особенно — вытесненный из литературы, он нуждался в самоутверждении, первым русским поэтом нашего века был, конечно, он, а вторым Пастернак. Особенно Пастернак тех времен, когда он, Бобров, издавал его в «Центрифуге». «Как он потом испортил “Марбург”! только одну строфу не тронул, да и то потому, что ее процитировал Маяковский и написал: гениальная». Уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: «Бобров, почему вы меня не поправили: “падет, главою очертя”, “а вправь пойдет Евфрат”? а теперь критики говорят: неправильно». — «А я думал, вы — нарочно». С очень большим уважением говорил об отце Пастернака: «Художники знают цену работе, крепкий был человек, Борису по струнке приходилось ходить. Однажды спросил меня: у Бориса настоящие стихи или — так? Я ответил». «Отвечил» — было, конечно, главное. Посмертную автобиографию «Люди и положения», где о Боброве упомянуто мимоходом и неласково, он очень не любил и называл не иначе, как «апокриф». К роману был равнодушен, считал его славу раздутой. Но выделял какие-то подробности предреволюционного быта, особенно душевного быта: «очень точно». Доброй памяти об этом времени в нем не было. «На нас подействовал не столько 1905 год, сколько потом реакция — когда каждый день раскрываешь газету и читаешь: повешено столько-то, повешено столько-то».

Об Асееве говорилось: «Какой талант, и какой был легкомысленный: ничего ведь не осталось. Впрочем, вот теперь премию получил, кто его знает. Однажды мы от него недавно уходили в недоумении, а Оксана выходит за нами в переднюю и тихо говорит: вы не думайте, ему теперь нельзя иначе, он ведь лауреат». Пастернак умирал гонимым, Асеев — признанным, это уязвляло Боброва. Однажды, когда он очень долго жаловался на свою судьбу словами «А вот Асеев...», я спросил: «А вы захотели бы поменяться жизнью с Асеевым?» Он посмотрел так, как будто никогда об этом не задумывался, и сказал: «А ведь нет».

«Какой был слух у Асеева! Он был игрок, а у игроков свои суеверия: когда идешь играть, нельзя думать ни о чем

божественном, иначе — проигрыш. Приходит проигравшийся Асеев, сердитый, говорит: “Шел — все церкви за версту обходил, а на Смоленской площади вдруг — извозчицья биржа и огромная вывеска «Продажа овса и сена», не прочесть нельзя, а ведь это все равно, что Отца и Сына!”» Из этого получилось известное стихотворение: “Я запретил бы продажу овса и сена — ведь это пахнет убийством отца и сына!”» (Чтобы пройти цензуру, отец и сын были напечатаны с маленькой буквы). «А работать не любил, разбрасывался. Всю “Оксашу” я за него составлял. У него была — для заработка — древнерусская повесть для детей в “Проталинке”, я повынимал оттуда вставные стихи, и кто теперь помнит, откуда они? “Под копыта казака — грянь! брань! гинь! вран!”...»

Читал стихи Бобров хорошо, громко подчеркивая не мелодию, а ритм: стиховедческое чтение. Я просил его показать, как «пел» Северянин — он отказался. А как вбивал в слушателей свои стихи Брюсов, — показал. «Демон самоубийства», то чтение, о котором говорится в автобиографическом «Мальчике»: «Своей, — улыбкой, — странно, — длительной, — глубокой, — тенью, — черных, — глаз, — он часто, — юноша, пленительный, — обворожает, — скорбных, — нас...» («А интонация Белого записана: Метнер написал один романс на его стихи, где нарочно воспроизвел все движения его голоса». Какой? «Не помню». Я стал расспрашивать о Белом — он дал мне главу из «Мальчика» с ночным разговором, очень хорошую, но ничего не добавил). «Брюсов не только сам все знал напоказ, но и домашних держал так же. Мы сидим у него, говорим о стихах, а он: “Жанночка, принеси нам тот том Верлена, где аллилуйя на «л»!” — и Жанна Матвеевна приносит том, раскрытый на нужной странице». Кажется, об этом вспоминали и другие: видимо, у Брюсова это был дежурный прием. «Умирал — затравленный. Эпиграмму Бори Лапина знает: “И вот уж воет лира над тростью этих лет”? Тогда всем так казалось. Когда он умер, Жанна Матвеевна бросилась к профессору Кончаловскому — брат художника, врач, Све-

тония вашего переводил, — “Доктор, ну как же это!” А он ей буркнул: “Не хотел бы — не помер бы”».

«А Северянина мы всерьез не принимали. Его сделал Федор Сологуб. Есть ведь такое эстетство — наслаждаться плохими стихами. Сологуб взял все эти его брошюрки, их было под тридцать, и прочитал их от первой до последней. Отобрал из них все, что получше, добавил последние его стихи, и получился “Громокипящий кубок”. А в следующие свои сборники Северянин стал брать все, что Сологуб забраковал, и понятно, что они получались один другого хуже». «Однажды он вернулся из Ялты, протратившись в пух и прах. Там жил царь, — так вот, когда Северянин ездил в такси, ему устраивали овации громче, чем царю. Понятно, что Северянин только и делал, что ездил в такси. А народ тоже понимал, что к чему: к царю относились — известно как, вот и усердствовали для Северянина».

Одно неизданное асеевское стихотвореньице я запомнил в бобровском чтении с одного раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел — забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу — читаю (двенадцать строчек — одна фраза): “У его могущества, кавалера Этны, мнил поять имущество, ожидая тщетно, — но, как на покойника, с горнего удела (сиречь, с подоконника) на меня глядела — та, завидев коюю (о, друзья, спасайтесь!), ввергнут в меланхолию — Юргис Балтрушайтис». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему: кавалера Этны?» — «Это наши тогдашние игры в Гофмана». — «И “Песенка таракана Пимрома” — тоже?» — «Тоже», — но точнее ничего не сказал.

Бобров несколько раз начинал писать воспоминания или надиктовывать их на магнитофон; отрывки сохранились в архиве. Я прошу прощения, если что-то из этого уже известно. «Но, — говорил Бобров, — помните, пожалуйста, что Аристотель сказал: “известное известно немногим”».

«Где?» — «Сказал — и все тут». Я остался в убеждении, что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, — за ним такое водилось. Но много лет спустя, переводя «Поэтику» Аристотеля (которую я читал по-русски не раз и не пять), я вдруг на самом видном месте наткнулся, словно впервые, на бобровские слова: «известное известно немногим». Аристотель и Бобров оказались правы.

О Маяковском он упоминал редко, но с тяжелым уважением, называл его «Маяк». «Однажды сидели в СОПО, пора вставать из-за столиков, Маяковский говорит: “Что ж, скажем словами Надсона: Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа” и т. д. Я сказал: “Пожелаем, только это не Надсон, а Некрасов”. Маяковский помрачнел: “Аксенов, он правду говорит?” — “Правду”. — “Вот сволочи, я по десяти городам кончал этим свои выступления — и хоть бы одна душа заметила”».

Хлебников пришел к Боброву, не зная адреса. Бобров вернулся домой, нянька ему говорит: вас ждет какой-то странный. «Как вы меня нашли?» Хлебников поглядел, не понимая, сказал: «Я — шел — к Боброву». Входила в моду эйнштейновская теория относительности, Хлебников попросил Боброва ему ее объяснять. Бобров с энтузиазмом начал и вдруг заметил, что Хлебников смотрит бесприсветно-скучно. «В чем дело?» — «Бобров, ну что за пустяки вы мне рассказываете: скорость света, скорость света. Значит, это относится только к таким мирам, где есть свет — а как же там, где света нет?» Я спросил Боброва: «А каковы хлебниковские математические работы?» — «Мы носили их к такому-то большому математику (я забыл, к какому), он читал их неделю и вернул, сказав: лучше никому их не показывайте». Кажется, их потом показывали и другим большим математикам, и те отзывались с восторгом, но как-то уклонялись от ответственности за этот восторг.

«Хлебников терпеть не мог умываться: он просто не понимал, зачем это нужно. Поэтому всегда был невероятно грязен. Оттого у него и с женщинами не было никаких романов». По складу своего характера Бобров обо всех говорил что-нибудь неприятное. «И Аксенова женщины не

любили. Он был тяжелый человек, замкнутый, его в румынском плену на дыбе пытали, как при царе Алексее Михайловиче. Книгу его “Неуважительные основания” видели? Огромная, роскошная; он принес рукопись в “Центрифугу”, сказал: “издайте за мой счет и поставьте свою марку, мне ваши издания нравятся; я написал книгу стихов “Кенотаф”, а потом увидел, что у вас стихи интереснее, и сжег ее”. (Не ошибка ли это? Судя по письмам Аксенова, они в это время были знакомы лишь заочно). Так вот, “Основания” он написал для Александры Экстер, художницы, а она его так и не полюбила. А потом для Любви Поповой, художницы, он устроил у Мейерхольда постановку “Великолепного рогоносца”, ее конструкции к “Рогоносцу” обошли все мировые книги по театру XX в., а она его так и не полюбила». Мария Павловна, жена Боброва, переводчица, вступилась; ее прозвище было «белка», Аксенов ей когда-то посвятил стихи с геральдикой: «Луну грызет противобелка с герба неложной красоты; но ты — фарфор, луны тарелка, хоть и орех для белки ты...» Бобров набросился на нее: «А ты могла бы?» — «Нет, не могла бы».

Поэт Иван Рукавишников, Дон-Кихот русского триолета, был алкоголик последней степени: с одной рюмки пьян вдребезги, а через полчала опять чист, как стеклышко. Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком), — Наталья Бенар носила огромные шестиугольные очки — чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку. («Спилась от застенчивости», — прочитал я потом о ней у О. Мочаловой). Борис Лапин («какой талантливый молодой человек был!»), кажется, был в начале кокаинистом. Вадим Шершеневич обращался с молодой женой, как мерзавец, а стоило ей сказать полслова поперек, он устраивал ей такие сцены, что она начинала просить прощения. Тогда он говорил: «Проси прощения не у меня, а у этой электрической лампочки!» — и она должна была поворачиваться к лампочке и говорить: «Лампочка, прости меня, я больше не буду», и горе ей, ес-

ли это получалось недостаточно истово, тогда все начиналось сначала. Я склонен этому верить: жена Шершеневича и в самом деле покончила самоубийством.

Борис Садовской, чтобы подразнить Эллиса в номерах «Дон», натянул на бюст чтимого Данте презерватив. Эллис, чтобы подразнить Бориса Садовского, — лютого антисемита, который больше всего на свете благоговел перед Фетом и Николаем I, — показывал Садовскому фотографию Фета и говорил: «Боря, твой Фет ведь и вправду еврей — посмотри, какие у него губы!» Садовский сатанел, бил кулаком по столу и кричал: «Врешь, он — поэт!» («С. П., а это Садовского Вы анонсировали в “Центрифуге”: “...сотрудничество кусательнейшего Птикса: берегитесь, меднолобцы”?» — «Садовского». — «Как же он к вам пошел, он же ненавидел футуризм». — «А вот так».)

Говоря о стиховедении, случилось упомянуть о декламации, говоря о декламации — вспомнить конструктивиста Алексея Чьи!черина, писавшего фонетической транскрипцией. У него была поэма без слов «Звонок к дворнику» — почему? «Потому что очень страшно. Ворота на ночь запирались, пришел поздно — звони дворнику, плати двугривенный, ничего особенного. Но если всматриваться в дощечку с надписью и только в нее, то смысл пропадает, и она залязгает чем-то жутким: ЗъваноГГ — дворньку! Это как у Сартра: смотришь на дерево — и ничего, смотришь отдельно на корень — он вдруг непонятен и страшен — и готово — ля нозё». Чичерин анонсировал какие-то свои вещи с пометкой «пряничное издание». «Да: мы с женой однажды получаем посылочку, в ней большой квадратный пряник, на нем трудночитаемые буквы и фигуры, а сверху приклеен ярлычок: “последнее сочинение Алексея Чьи!черина”. Через день встречаю его на Тверской — “Ну, как?” — “Спасибо, — говорю, — очень вкусно было”. — “Это что! — говорит, — самое трудное было найти булочную, чтобы с такой доски печатать: ни одна не бралась!”»

Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду

верил, что писать надо только так, разлюли-малина». (Я вспомнил Пастернака — о том, что Демьян Бедный — это Ганс Сакс современной поэзии). Был поэт из «Правды» Виктор Гусев, очень много писавший дольниками, я пожаловался, что никак не кончу по ним подсчеты — Бобров сказал: «Работяга был. Знаете, как он умер? В войну, в Радиокомитете писал целый день, переутомился, сошел в буфет, выпил рюмку водки и упал. И Павел Шубин так же помер. Говорил, что доживет до семидесяти, все в роду живучие, а сам вышел утром на Театральную площадь, сел под солнышко на лавочку и не встал». Мария Павловна: «В Доме писателей был швейцар Афоня, мы его спрашивали: “Ну, как, Афоня, будет сегодня драка или нет?” Он смотрел на гардероб и говорил: “Шубин — здесь, Смеляков — здесь: будет!”» Я не проверял этих рассказов: если они недостоверны, пусть останутся как окололитературный фольклор. Этот Афоня, кажется, уже вошел в историю словесности. Извиняясь за происходящее, он говорил: «Такая уж нынче эпошка».

Бобров закончил московский Археологический институт в Староконюшенном переулке, но никогда о нем не вспоминал, а от вопросов уклонялся. Зато о незаконченном учении в Строгановском училище и о художниках, которых знал, он вспоминал с удовольствием. «Они мастеровые люди: чем лучше пишут, тем косноязычнее говорят. Илья Машков вернулся из Италии: “Ну, ребята, Рафаэль — это совсем не то. Мы думали, он — вот, вот и вот (на лице утрюмость, руки резко рисуют в воздухе пирамиду от вершины двумя скатами к подножью), а он — вот, вот и вот” (на лице бережность, две руки ладонями друг к другу плавными зигзагами движутся сверху вниз, как по извилистой стеблю)». Кажется, это вошло в «Мальчика».

Наталья Гончарова иллюстрировала его первую книгу, «Вертоградари над лозами», он готов был признать, что ее рисунки лучше стихов: стихи эти он вспоминал редко, а рисунки часто. Ее птицу с обложки этой книги Мария Павловна просила потом выбить на могильной плите Боброва. Ларионова он недолюбливал, у них была какая-то ссора. Но

однажды, когда Ларионов показывал ему рисунки — наклонясь над столом, руки за спину, — он удивился напряженности его лица и увидел: Гончарова сзади неслышно целовала его лопатки за спиной. «Она очень сильно его любила, я не знал, что так бывает».

«Малевич нам показывал красный квадрат, мы делали вид, что это очень интересно. Он почувствовал это, сказал: “С ним было очень трудно: он хотел меня подчинить”. — “Как?” — “А вот так, чтобы меня совсем не было”. — “И что же?” — “я его одолел. Видите: вот тут его сторона чуть-чуть скошена. Это я нарочно сделал — и он подчинился”. Тут мы поняли, какой он больной человек».

Я сказал, что люблю конструкции Родченко. «Родченко теперь не такой. Я встретил его жену, расспрашиваю, она говорит: “Он сейчас совсем по-другому пишет”. Как? “Да так, — говорит, — вроде Ренуара...” А Федор Платов тоже по-другому пишет, только наоборот: абстрактные картины». Абстрактные в каком роде? «А вот как пришел ковер к коврику, и стали они танцевать, а потом у них народилось много-много ковров». Федора Платова, державшего когда-то издательство «Пета» (от глагола «петь»), я однажды застал у Боброва. Он был маленький, лысый, худой, верткий, неумолчный и хорохорящийся, а с ним была большая спокойная жена. Шел 350-летний юбилей Сервантеса, и чинный Институт мировой литературы устроил выставку его картин к «Дон-Кихоту». Мельницы были изображены такими, какими они казались Дон-Кихоту: надвигались, вращались и брызгали огнем; это и вправду было страшно.

Больше всего мучился Бобров из-за одной только своей дурной славы: считалось, что он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он — мертвец, и стихи у него — мертвецкие. Через несколько месяцев Блок умер, и в те же дни вышла «Печать и революция» с рецензией Боброва на «Седое утро», где говорилось примерно то же самое; после этого трудно было не поверить молве. Об этом говорили и много раз писали — С. М. Бонди, который мог обо всем знать от очевидцев, и тот этому верил. Я бы тоже поверил, не случись мне чудом увидеть в забытом журна-

ле, не помню, каком, чуть ли не единственное тогда упоминание, что кричавшего звали Струве. (Александр Струве, большеформатная брошюра о новой хореографии с томными картинками). Поэтому я сочувствовал Боброву чисто-сердечно. «А рецензия?» — «Ну, что рецензия, — хмуро ответил он. — Тогда всем так казалось».

Как это получилось в Политехническом музее, — для меня понятнее всего из записок О. Мочаловой, которые я прочел много позже (ЦГАЛИ, 272, 2, 6, л.33). После выхода Струве «выскочил Сергей Бобров, как будто и защищая поэзию, но так кривляясь и ломаясь, что и в минуту разгоревшихся страстей этот клоунский номер вызвал общее недоумение. Председательствовал Антокольский, но был безмолвен». Кто знает тогдашний стиль Боброва, тот представит себе впечатление от этой сцены. Струве был никому не знаком, а Боброва знали, и героем недоброй памяти стал именно он.

Собственные стихи Боброва были очень непохожи на его буйное поведение: напряженно-простые и неуклюже-бестелесные. На моей памяти он очень мало писал стихов, но запас неизданных старых, 1920-1950-х гг., был велик. Мне нужно было много изобретательности, чтобы хвалить их. Но одно его позднее стихотворение я люблю: оно называется «Два голоса» («1 — мужской, 2 — женский»), дата — 1935. На магнитофоне было записано его чтение вдвоем с Марией Павловной: получалось очень хорошо*.

Проза его — «Восстание мизантропов», «Спецификация идитола», «Нашедший сокровище» («написано давно, в 1930 я присочинил конец про мировую революцию и напечатал под псевдонимом еще из “Центрифуги”: А. Юрлов») — в молодости не нравилась мне невзрачностью, потом стала нравиться. Мне кажется, есть что-то общее в прозе соседствовавших в «Центрифуге» поэтов: у Боброва, в забытом «Санатории» Асеева, в ждущих издания «Геркулесовых столпах» Аксенова, в ставшей классикой ранней прозе Пастернака. Но что именно — не изучив, не скажу.

* См. с. 122 настоящего изд. (Прим. изд.).

Будит тихая славная поступь волны
поступь
Тишину и певучие сны
летучие
И ее говорливая радость шумит
сладость
Она говорит и бежит
— —
— —
Она говорит и бежит
вдыхающий
Послушай ее лепечущий день
могучую
Узорную и летучую тень
— —
Мы тихо поднимем взоры свои
Как крылья и лепестки
— —
— —
Как живые лучи
Почти мотыльки
мотыльки
и бархатной мглы
Причудливой тайны
радугой мглы
Мы будем носиться
Свободный и свежий
он тешит и нежит
ближе, живее
Все реже, слабее
к устам
Он тихий, он льется, он жмется
Он сердцем сольется
и бисером струй
Дрожащих лучей
блестящих огней
Звнящих огней
золотистых лучей
Простой поцелуй
и живой
Мы выйдем из листиков

из мхов

1 Как певучий
2 фагота шмель

1 И легкая трель
2 говорит как свирель

1 — —
2 И к сердцу приходит она

1 И ей говорит в ручье волна
2 — —

1 — —
2 О как чиста и жива

1 — —
2 Как каждый камень слышит ее

1 И волненье мое
2 и мое

1 Мы будем как легкие листики
2 пен

1 Плясать и шуметь
2 у алмазных стен

1 — —
2 И в легкую радугу капель

1 — —
2 И как день золотой сиять

1 Узорная ходит взлетающая тень
2 убежая

1 Горит просторная лень
2 узорная

1 И день говорит и листик
2 горит

1 И в ветре раскинувшись
2 он горит

1 бежит
2 И ветер приходит к нему волной

1 Замирает
2 Отвечает сумрак лесной

1 И он говорит
2 Он легкие песни поет весне

1 Тебе
2 и тебе

1 Тебе и мне
2 Тебе и мне

Одна его книга в прозе, долго анонсированная в «Центрифуге», так и не вышла, остались корректурные листы: «К. Бубера. Критика житейской философии». Я встречал смелые ссылки на нее как на первый русский отклик философии Мартина Бубера. Это случайное совпадение. «К. Бубера» — это Кот Бубера, критикует он житейскую философию Кота Мурра, книга издевательская, со включением стихов К. Буберы (с рассеченными рифмами) и с жизнеописанием автора. (Последними словами умирающего Буберы были: «Не мстите убийце — это придаст односторонний характер будущему». Мне они запомнились). Таким образом, и тут в начале был Гофман.

Из переводов чаще всего вспоминались Шарль ван-Лерберг, которого он любил в молодости («Дождик, братец золотой...») и Гарсиа Лорка. Если бы было место, я бы написал его «Романс с лагунами» о всаднике дон Педро, он очень хорош. Но больше всего он гордился стихотворным переложением Сы Кун-ту, «Поэма о поэте», двенадцатистишия с заглавиями: «Могучий хаос», «Пресная пустота», «Погруженная сосредоточенность», «И омыгто, и выплавлено», «Горестное рвется» и т. д. «Пришел однажды Аксенов, говорит: “Бобров, я принес вам китайского Хлебникова!” — и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева». Там был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову. В 1932 г. Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный. «Пошел в “Интернациональную литературу”, там работал Эми Сяо, помните, такой полпред революционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой и он говорит тонким голосом на всю редакцию: “Това-ли-си, вот настоящие китайские стихи!”» После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо «профессиональный импотент», но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1960-х гг. в «Странах Азии и Африки», стараниями С. Ю. Неклюдова.

Мария Павловна рассказывала, как они переводили вместе «Красное и черное» и «Повесть о двух городах»: она сидит, переводит вслух на разные лады и записывает, а он ходит по комнате, пересказывает это лихими словами и импровизирует, как бы это следовало сочинить на самом деле. И десятая часть этих импровизаций вправду идет в дело. «Иногда получалось так здорово, что нужно было много усилий, чтоб не впасть в соблазн и не впустить в перевод того, чего у Диккенса быть не могло». Мария Павловна преклонялась перед Бобровым безоглядно, но здесь была тверда: переводчик она была замечательный.

С наибольшим удовольствием вспоминал Бобров не о литературе, а о своей работе в Центральном статистическом управлении. «Это было настоящее дело». Книгой «Индексы Госплана» он гордился больше, чем изданиями «Центрифуги». «Там я дослужился, можно сказать, до полковничьих чинов. Люди были выучены на земской статистике, а земские статистики, не сомневайтесь, умели знать, сколько ухватов у какого мужика. Потом все кончилось: потребовалась статистика не такая, какая есть, а какая надобна; и ЦСУ закрыли». Закрыли с погромом: Бобров отсидел в тюрьме, потом отбыл три года в Кокчетаве, потом до самой войны жил за 101-м километром, в Александрове. Вспоминать об этом он не любил, кокчетавские акварели его — рыжая степь, голубое небо — висели в комнате не у него, а у его жены. (Фраза из воспоминаний Марии Павловны: «И я не могла для него ничего сделать, ну, разве только помочь ему выжить»). Я и вправду не знаю, как выжил бы он без нее). Первую книжку после этого ему позволили выпустить лишь в войну: «Песнь о Роланде», пересказ для детей размером «Песен западных славян», Эренбург написал предисловие и помог издать — Франция считалась тогда союзником.

О стихе «Песен западных славян» Пушкина он писал еще в 1915 г., писал и все десять своих последних лет. Несколько статей были напечатаны в журнале «Русская литература». Большие, со статистическими таблицами, выглядели они там очень необычно, но редактор В. Г. Базанов

(писатели-преддекабристы, северный фольклор) был человек хрущевской непредсказуемости, Бобров ему чем-то понравился, и он открыл Боброву зеленую улицу. Литературоведы советской формации были недовольны, есениновед С. Кошечкин напечатал в «Правде» заметку «Пушкин по диагонали» (диагональ квадрата статистического распределения — научный термин, но Кошечкин этого не знал). Сорок строчек в «Правде» — не шутка, Бобров бурно нервничал, все его знакомые писали письма в редакцию — даже академик А. Н. Колмогоров.

Колмогоров в это время, около 1960 г., заинтересовался стиховедением: этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание. Еще Б. Томашевский в 1917 г. предложил исследовать ритм стиха, конструируя по языковым данным вероятностные модели стиха и сравнивая их с реальным ритмом. Колмогорову, математику-вероятностнику с мировым именем, это показалось интересно. Он усовершенствовал методику Томашевского, собрал стиховедческий семинар, воспитал одногодучих учеников-стиховедов. Бобров ликовал. А дальше получился парадокс. Колмогоров, профессиональный математик, в своих статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь не случаен по такому-то признаку и в такой-то мере. Математика для него была не ключом к филологическим задачам, а дисциплиной ума при их решении. А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом бы описывала все ритмические особенности такого-то стиха. Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моделью и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, — Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было. Колмогоров очень деликатно говорил ему, что именно поэтому

такая модель будет совершенно бесполезна. Но Бобров был слишком увлечен.

Здесь и случился эпизод, когда Бобров едва не выгнал меня из дому.

В «Мальчике» Боброва не раз упоминается книга, которую он любил в детстве, — «Маугли» Киплинга, и всякий раз в форме «Маули»: «мне так больше нравится». Не только я, но и преданная Мария Павловна пыталась заступиться за Киплинга, — Бобров только обижался: «Моя книга, как хочу, так и пишу» (дословно). Такое же личное отношение у него было и к научным терминам. Увлеченный математикой, он оставался футуристом: любил слова новые и звучные. Ритмические выделения он называл «литавридами», окончания стиха — «краезвучиями», а стих «Песен западных славян» — «хореофильным анапестоморфическим трехдольным размером». Очень хотел применить к чему-нибудь греческий термин «сизигия» — красиво звучал и ассоциировался с астрономией, которую Бобров любил. Громоздкое понятие «словораздел» он еще в 1920-х гг. переименовал по-советски кратко: «слор». Мне это нравилось. Но потом ему понадобилось переименовать еще более громоздкое понятие «ритмический тип слова» (2-сложное с ударением на 1 слоге, 3-сложное с ударением на 3 слоге и т. п.): именно после таких слов, справа от них, следовали словоразделы-слоры. Он стал называть словоразделы-слоры «правыми слорами», а ритмические типы слов — сперва устно, а потом и письменно, — «левыми слорами». Слова оказались названы словоразделами: это было естественно, но он уже привык.

Колмогоров предложил ему написать статью для журнала «Теория вероятностей» объемом в неполный лист. Бобров написал два листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все «левые слоры» в «ритмотипы слов», чтобы не запутать читателя. Отредактированную статью я дал Боброву. Он, прочитавши, вынес мне ее, брезгливо держа двумя пальцами за уголок: «Возьмите, пожалуйста, эту пародию и больше ее мне не показывайте». Все шло к тому, чтобы тут моим визитам пришел ко-

нец. Но статью нужно было все-таки обработать для печати. Я был позван вновь, на этот раз в паре с математиком А. А. Петровым, учеником Колмогорова, удивительно светлым человеком; потом он умер от туберкулеза. («Помните, “Четвертая проза” начинается: “Веньямин Федорович Каган...”? — я его хорошо знал, это был прекрасный математик...»). Мы быстро в согласии сделали новый вариант, сохранив все «левые слоры», и только внятно оговорив, что это не словоразделы, а слова. Бобров был не очень доволен, но работу принял, и Колмогоров ее напечатал.

От этой статьи пошла вся серия публикаций в «Русской литературе», а потом и большая книга. Книгу он сдал в издательство «Наука», но издательство не спешило, а Бобров уже не мог остановиться в работе и делал новые и новые изменения и дополнения. Когда редактор смог взяться за рукопись, оказалось, что она уже устарела, а новый вариант ее был еще только кипящим черновиком. Работу отложили, книга так и не вышла. Материалы к ней легли в архив, но из них невозможно выделить никакую законченную редакцию: сам Бобров в последние годы не мог уже свести в них концы с концами.

Сосед Боброва по подъезду писательского дома, Ф. А. Петровский, мой шеф по античной литературе, спросил меня: «А вы заметили, в какой подробности устарел силуэт Крутиковой?» Я знал. «Там у Боброва в руке папироса, а теперь у него в прихожей казенная вывеска: “Не курить”». Бобров не курил, не ел сладкого, у него был диабет. Полосы бурной активности, когда он за неделю писал десятки страниц, чередовались с полосами вялого уныния. Кажется, это бывало у него всю жизнь. («Вы недовольны собой? да кто ж доволен собой, кроме Эльснера?» — писал ему в 1916 г. Аксенов; Аксенов с Эльснером были шаферами при венчании Гумилева с Ахматовой в Киеве, и Эльснер уверял, что это он научил Ахматову писать стихи). Однажды он среди стиховедческого разговора спросил меня: «Скажите, знаете ли вы, что такое ликантропия?» — «Кажется, оборотничество?» — «Это такая болезнь, которой страдал царь Навуходоносор». — «А». — «Вы ничего не имели бы

против, если бы я сейчас немного постоял на четвереньках?» — «Что вы!» Он встал на коврик возле дивана, постоял минуту, встал, сел и продолжал разговор.

«Сколько вам лет?» — спросил он меня однажды. «Двадцать семь». — «А мне семьдесят два. Я бы очень хотел переставить цифры моего возраста так, как у вас». — Он умер, когда ему шел восемьдесят второй, — это было в 1971 году.

Повесть С. Боброва «Восстание мизантропов» публикуется по первоизданию (М.: Центрифуга, 1922) с сохранением авторской орфографии и пунктуации. В тексте исправлены некоторые очевидные опечатки и сбой в нумерации глав. На авантитуле – обложка книги 1922 г. раб. Л. Поповой.

«Воспоминания о С. П. Боброве» М. Гаспарова печатаются по первой публикации (Блоковский сборник XII. Тарту, 1993). Набор на с. 122 – из книги М. Гаспарова «Записи и выписки» (М.: НЛО, 2001).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.